ИВАН СОЛОНЕВИЧ

РОМАН ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

Издание III

БУЭНОС АЙРЕС
1953

ИВАН СОЛОНЕВИЧ

Роман во Дворце Труда

БУЭНОС АЙРЕС

1953

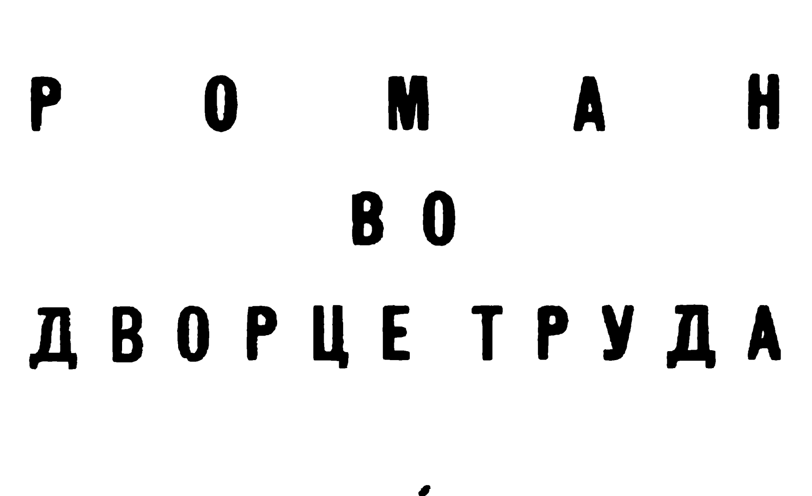
IVAN SOLONEWITSCH

ROMANCE EN EL PALACIO DEL TRABAJO

BUENOS AIRES

1953

ИВАН СОЛОНЕВИЧ



РОМАН ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

ИЗДАНИЕ III

БУЭНОС АЙРЕС

1953

Во "ДВОРЦЕ Труда" нет решительно ничего дворцового. Это просто грандиозная канцелярия "Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов" — сокращенно ВЦСПС — и центральных комитетов отдельных профсоюзов. В ней около 2 тысяч комнат и около десятка тысяч служащих. "Дворец" помещается на Солянке 12, в огромном пятиэтажном здании, которое при старом режиме было, если можно так выразиться, колонией тогдашних беспризорников — воспитательным домом. Один из его гигантских Екатерининских фасадов — мощная и великолепная в своей простоте стена, выходит на набережную Москва-реки. На всякого рода профсоюзных значках, плакатах, жетонах и прочем этот стилизованный фасад почему-то фигурирует в качестве эмблемы профсоюзного движения СССР. Словом, Дворец Труда это маховик, закручивающий "приводной ремень от партии к массам".

В полуподвальном этаже его находятся общежития всякого рода профсоюзных гостей, делегатов, стипендиатов, питомцев и дармоедов. Первый этаж занят теми профсоюзами, которые никаких ремней не за-

кручивают — например, союзом медицинских работников и прочими золушками профсоюзного движения СССР. Это низкий и темный этаж. Часть его занята разными складами, в том числе и организованным было мной складом инвентаря для профсоюзных физкультурников, созданным в пику монополии и грабежу спортивного общества войск и сотрудников ГПУ — "Динамо".

Второй этаж занят профсоюзами, заслуживающими некоторого политического внимания — например, работниками искусств (Рабис) и работниками просвещения (Работпрос). Третий этаж занимает серединную позицию. Там раскинул кущи свои самый многочисленный и по существу самый влиятельный профессиональный союз СССР — союз советских и торговых служащих, так сказать, профсоюз советской бюрократии. Он держится скромно и в тени: в стране диктатуры пролетариата неудобно подчеркивать самодержавие бюрократии. Четвертый этаж, высокий и светлый, занимает, так называемая, "опора пролетарской диктатуры" — тяжелая промышленность: металлисты и горнорабочие. На высотах пятого этажа все это возглавляется ВЦСПС и Профинтерном. Впрочем, с этих высот Профинтерн возглавляет и все революционное профдвижение мира. У входа в Профинтерн стоит ГПУ-ский патруль и там все время шныряют подозрительные личности мексиканско-абиссинского типа... Словом — пирамида построена по всем правилам чинопочитания.

Внутри эту пирамиду прорезывают бесконечные корридоры, по которым в свое время мотался Остап Бендер в поисках столь необходимых ему миллионов и не нашел. Еще раньше, в 1812 году, по тем же корридорам какой-то легендарный русский генерал в, так сказать, конном строю удирал от французской кавалерии — и удрал. По этим же корридорам в течение приблизительно семи лет циркулировал и я — и тоже, в конце концов, удрал.

Семь лет этого циркулирования дали весьма обильный материал для тайн мадридского двора труда... Но на показной стороне — дворцово-трудовая жизнь Солянки 12 шла совершенно так же, как она идет во всех прочих советских дворцах, приказах, канцеляриях и вообще "присутственных местах". В бесчисленных, перегороженных фанерой, щелях сидели бесчисленные машинистки, бухгалтера, инструктора, ответственные работники, стучали, строчили, инструктировали, заседали, руководили и шалели. Непрерывным потоком вливались одни люди и выливались другие. Аппарат то забюрокрачивался, то освежался. Я не знаю, можно ли сказать по-русски "забюрокрачивался", но в Москве так говорят. Вот аппарат начинает забюрокрачиваться, на его место приезжают другие люди, которые вчера оказались забюрократившимися на других местах, и освежают новое место. Впрочем, в Москве, редко говорят "освежили". Говорят "освежевали". Освежеванные, но не унывающие профсоюзные подьячие забирают из своих старых столов: всю наличную чистую бумагу, огрызки карандашей, пустые водочные бутылки, при достаточной ловкости рук прихватывают электрические лампочки, канцелярские нитки и вообще все то, что так необходимо индустриализированному человеку и чего за деньги достать нельзя, и что можно упрятать в многострадальный советский портфель.

Портфель же этот давно перестал быть чем-то лишь внешне приспособленным к человеку. Он стал органом, как защечные мешки суслика или сумка кенгуру. Портфель врос в советского человека. Портфель — это классовое отличие ответственного работника, это склад пайкового хлеба, захваченной с утра запасливым совгражданином бутылки водки (вечером можно уже и не достать) полученных по служебной карточке буттербродов учрежденческого буфета, личных документов, самая необходимая коллекция которых в средний карман не влезает, и вообще всего того, что советский гражданин — в порядке ли текущей потреб-

ности или так, на всякий случай — ухитрится купить, получить, достать, благоприобрести или просто спереть в течение его суматошного рабочего и нерабочего дня.

Не отличается Дворец Труда от прочих присутственных мест и тем, что его ответственные работники отсутствуют почти всегда. Никакое в мире ГПУ не в состоянии проконтролировать, что делает ответственный работник. В Москве — ему совершенно необходимо быть в одно и то же время на пяти заседаниях. Понятно, что можно не пойти ни на одно. Но в Москве ответственый работник бывает мало: мотается по всему бывшему лицу земли Русской и загромождает поезда командировками, бригадами, обследованиями, ревизиями и прочим. Всякая такая поездка это признак активности: ездит-де человек и соприкасается с массами: калужскими, архангельскими, владивостокскими и прочими. Поездка, кроме того, подкрепляет и скудную финансово-экономическую базу ответственного: учреждение платит суточные, проездные и квартирные а "периферия" кормит на казенный счет: как-никак приехало центральное начальство — лучше покормить. Начальство же, кормленное на казенный счет, по понятным соображениям, предпочитает закрыть глаза на этот прискорбный факт, что на тот же казенный счет подкармливается и "периферия".

Иногда такие поездки на кормление кончаются, так сказать, несколько щекотливо... Так, союз служащих, в котором я имел честь околачиваться лет шесть, никак не мог выяснить — почему это не удается достроить майкопский клуб. На обследование туда ездил товарищ Преде. Потом какой-то местный активист, охваченный усердием не по разуму, прислал в ЦК фотографию: как тов. Преде, вкупе со строителями клуба, пропивает этот клуб на его же недостроенной крыше. Дело было летнее — отчего не выпить и на крыше? Некоторое время в ЦК над этой крышей весело подтрунивали ответственные сотоварищи това-

рища Преде. До ГПУ такие дела в среднем не доходят; люди более или менее свои...

Преде, впрочем, был в ГПУ совсем своим. Сквозь его путаную и извилистую биографию проходил один неизменный стрежень: явная или скрытая, ответственная или на побегушках, но непрерывная за все годы революции работа в ГПУ... По линии же ГПУ он был послан в Германию в Гамбург, заведывал там экспортом "лексырья" — лекарственных трав из России. Об этом экспорте он рассказывал мне забавные вещи. Например: привезли шестьсот тонн сушеной малины. Сушеная малина в количестве шестисот тонн — это количество, так сказать, астрономическое. К тому же выяснилось: в тех прискорбных случаях, в которых русские люди в былое время пили чай с малиной (теперь не пьют — чая нет, а малину экспортирует товарищ Преде) — так в тех случаях немцы предпочитают принимать просто аспирин. И тот, конечно, не тоннами. Словом — когда расходы по кредиту (под малину был получен банковский кредит) и по складам (600 тонн сушеной малины занимают весьма солидный объем) превысили самые пессимистические расчеты, берлинское торгпредство решило раскошелиться и предписало гамбургской конторе вывезти это сырье в море и выбросить его вон: все равно никто не покупает, не везти же обратно. Преде предложил гениальную комбинацию: нашел какого-то дядю, который купил эту малину на корм скоту, -- по цене, равной половине расходов по фрахту.

Преде считал, что за этакую идею торгпредство должно бы премировать его. Я же полагал, что Преде получил свою премию и без торгпредства от этого "дяди" непосредственно. На мой намек по этому поводу Преде иронически скривил губы так, что его неизменная трубка поднялась до уровня его серых забубенных глаз: "а, что там! выпито, конечно, было".

Выпито бывало неоднократно и в масштабах, неслыханных для капиталистических стран. Преде, как работник торгпредства, был лицом экстерриториаль-

ным, но и экстерриториальных лиц полицейские протоколы не украшают. Преде был отозван в Москву и снова занялся освежением аппарата ЦК.

* *
*

К концу лета ответственные командировки обычно достигали своего апогея.. Центральные работники избирали это время для соприкосновения с массами, проживающими в Ялте, на Минеральных Водах, — на худой случай — в Одессе или Николаеве. Оставшиеся ответственные выполняли функции уехавших. Вот почему я в августе 1928 года оказался обремененным ответственной работой составления списков стипендиатов союза и служащих, обучающихся или долженствующих обучаться в высших учебных заведениях Москвы. Дело, впрочем, было очень несложное. Из списков кандидатов каждого губернского отдела нужно было на авось выкинуть три четверти, оставшуюся четверть переписать в новый список. Вычеркивать не не на авось ни я и никто другой не имели решительно никакой возможности: откуда я могу знать, что представляет собою Иванов, рекомендуемый, скажем, ташкентским отделом союза. Сам ташкентский отдел, может быть, и знает (мало вероятно), но ташкентский отдел стипендиями распоряжаться не имеет права. Распоряжается "центр", долженствующий контролировать прежде всего политическую сторону кандидатур. Центр — это, во-первых, ЦК союза, во-вторых, это — заведующий культурно-просветительным отделом тов. Кантор, которому президиум ЦК поручает эту работу по должности, и в третьих и последних, это — я, которому тов. Кантор поручил эту работу, вследствие необходимости для него самого соприкос-

нуться с кисловодскими трудовыми массами. Итак, политически контролирующим центром на практике оказываюсь я — скромный инструктор ЦК в области спорта и туризма. Я получаю на руки около пяти тысяч анкет, пяти тысяч рекомендаций, отзывов, удостоверений и прочего — все в пяти тысячах экземпляров каждое. Я не Господь Бог, в особенности летом. На списках губернских отделов я отмечаю птичками достойных кандидатов, машинистки перестукивают эти имена в отдельный и почти окончательный список и этот окончательный список идет на утверждение президиума центрального комитета.

Президиум — тоже не Господь Бог, в особенности летом. В кабинете председателя собирается полдюжины человек, измотанных, ошалелых и мечтающих о кисловодских массах.

— Следующий вопрос: доклад тов. Солоневича о списках стипендиатов... Что, товарищ Солоневич, проработали вы эти списки?

— Будем зачитывать?

— Да ну его к чертям — до утра сидеть придется...

— А послушай, Солоневич, там вот ленинградский отдел просил за какого-то Иванова — как он там у тебя?

— Иванова? Нет, Иванов не попал.

— А ну, вставь-ка ты его — выкинь кого-нибудь рядышком.

— Нет возражений?

— Ну, значит, вставьте Иванова.

— Еще предложения есть? Нет? Ну, список, значит, принят, — только вы, тов. Солоневич, смотрите уж, чтобы, так сказать, ни задоринки.

— Да, что я — маленький?...

— Ну, то-то... Следующий вопрос...

Десять тысяч человек трудовых придворных вот и занимаются такими делами.

Во всяком случае, в "отчетный отрезок времени" я попал в положение этакого диктатора по вузовским

делам. Как-то сидел я в машинном бюро и что-то писал. Курьерша сказала мне:

— Там вас, тов. Солоневич, какой-то парень, поди, уже с час времени дожидается.

Я пошел в свою комнату. У ее стены с видом какого-то равнодушия и готовности торчать вот этаким столбом до пришествия мировой революции стоял какой-то парень лет двадцати, одетый в старинный долгополый сюртук и обутый в истасканные лыковые лапти. Лицом он был, что называется, кровь с молоком, а фигурой напоминал небольшого, но очень крепко скроенного бычка.

— Вы ко мне?

— Да, должно быть, к вам.

Вид у парня был не то, что равнодушный, а скорее, я бы сказал, безнадежный: "от тебя, или не от тебя — все равно никакого толку не добьешься".

— Что вам нужно?

Парень оглядел меня, как бы задавая себе самому вопрос — а стоит ли еще и с этим типом разговаривать.

— Учиться хочу, — сказал он прозаическим тоном.

Заявление было весьма скромным. Так, как если бы в капиталистической стране человек сказал "хочу разбогатеть". Юношей, которые хотели учиться и по этому поводу были вооружены десятками различных справок, рекомендаций и прочего, перед моим столом проходило в день в среднем десятка два-три. Только для очень немногих, двух-трех из сотни, я мог что-нибудь сделать. Обычно это было сопряжено с тем актом, который по старой терминологии назывался служебным подлогом. Партийные и комсомольские ячейки в порядке разверстки посылали принудительно учиться активистских остолопов, которые учиться не могли в силу внутренней своей неприспособленности к такого рода деятельности и не хотели в силу того обстоятельства, что участие в какой-нибудь активистской ревизии — и веселее, и прибыльнее учебы. Но тех, кто ин-

тересовался учебой, в таких ревизиях участия не принимали и, следовательно, никакими партийными рекомендациями и "путевками" вооружены не были. По всей видимости, мой парень принадлежал к числу последних. Я спросил его — какого он союза. Парень недоуменно поднял свои пудовые плечи:

— Какого союза? Известно какого — советского...

— Да я не о том: вы какого профессионального союза?

— Профессионального? Да, должно, никакого, мы — по крестьянству.

Парень говорил как-то странно, без всякого выражения, без малейшего жеста, словно некто, тщательно спрятанный за ним, вещал сквозь дыру рта этой дубовой кариатиды, вросшей в стену. Собственно это обстоятельство и обратило мое внимание на парня: ежедневно в ЦК приходило или приезжало человек двадцать-тридцать по поводу стипендий, а стипендии означали не столько некую материальную поддержку, сколько право на поступление в ВУЗ. Пришлось приучиться отмахиваться от людей — бюрократы в противоположность поэтам "не рождаются, а создаются".

Парень не имел решительно никакого отношения к союзу служащих, и сделать для него я решительно ничего не мог. Повинуясь условному рефлексу всякого бюрократа, я собрался было сказать парню: пойдите в Дом Крестьянина. В Доме Крестьянина ему некто вроде меня сказал бы — пойдите в ЦК комсомола. В ЦК комсомола ему бы сказали: пойдите в московский комитет комсомола и т. д. до бесконечности. Но парень как-то очень уж не был похож на сотни "просителей", прошедших перед моими глазами за это время, и я спросил:

— А вы как в Москву попали?

— Да, так — пришел.

— Пешком пришли?

— Пешком.

— Откуда?

— Да из под Вологды.

— Сколько же времени вы шли?

— Да недели с три. И вот здесь неделю хожу.

Выяснилось, что парень уже целую неделю ходит по замкнутым квадратам коридоров Дворца Труда и тыкается к кому попало. Кто попало говорит: пойдите в комнату 666 к товарищу Иванову. Товарищ Иванов говорит: пойдите в комнату 667 к товарищу Петрову, словом — у попа была собака... Я посоветовал парню бросить эту волынку, вернуться домой, там пролезть в профессиональный союз батраком (сельхозрабочих), запастись хоть какой-нибудь профсоюзной бумаженкой — и тогда начать все это сначала. В первый раз за все время разговора лицо парня пришло в какое-то движение: на нем показалась улыбка — насмешливая, чуть чуть свысока, как бы говорящая: "не из таких я, чтобы назад возвращаться, это уж — извините"...

— Домой я не пойду. Я учиться пришел. Хоть год буду ходить... Вот только — есть нету. А учиться я буду.

— А чему вы хотите учиться?

— Все равно — чему. Мне бы по рисовательной части.

На художественную натуру парень никакъ не был похож. "А вы пробовали рисовать?" — "Пробовал", — "Есть при вас ваши рисунки?" — "А то как же"... — "Покажите".

Из внутреннего кармана своего длиннополого сюртука парень извлек пачку бумажек, завернутых раньше в газету, потом в кусок рваной клеенки и перевязанную каким-то мочальным шнурком. Его неуклюжие пальцы с неожиданной ловкостью стали развязывать этот шнурок...

— Садитесь пока.

Парень пододвинул стул и с опаской сел на него. Я достал из портфеля кусок хлеба, предложил его парню и пододвинул к себе довольно основательную пачку всяких бумажных огрызков: листиков старых те-

традей, титульных листов, вырванных из каких-то книг, обойных обрывков и прочего в этом роде. Парень со сдержанной жадностью стал отламывать кусочки хлеба и медленно, со смаком жевать их.

Рисунки его не были разнообразны. На фоне северного пейзажа паслись, лежали, работали коровы, овцы, лошади — все это, вырисованное неумело, с искаженной перспективой, с трогательной тщательностью неопытной руки. И тем не менее — все это жило, не так, как живет бык Яна Поттерса или кони Фальконета: это была не декоративная мощь звериных гигантов, а мужичья жизнь "трудящейся животины". Было видно, что оригиналы этих набросков — хорошие личные знакомые моего парня. Каждое пятно на шкуре было вырисовано, как портретная деталь, сломанный рог остался сломанным, и каждая сивка жила какой-то особенной, своей лошадиной жизнью. Не нужно было быть художественным критиком, чтобы увидать: парня не даром тянуло в Москву.

В течение очень короткого разговора было выяснено: парень — сын вологодского мужика, учился в сельской школе, никаких документов, кроме увольнительного свидетельства от сельсовета, не имел, следовательно, не имел и никаких шансов попасть куда бы то ни было. Или во всяком случае, — лично я ничего для парня не мог сделать, о чем я ему и сообщил. Сообщение мое парень принял с прежним равнодушием: ничего другого он, дескать, и не ждал и, повидимому, собирался возобновить бесплодное свое циркулирование по бесконечным корридорам Дворца Труда.

Но даже и забюрократившееся сердце бывает иногда склонно к бескорыстным порывам. . . Я попросил парня подождать, взял его рисунки и пошел к одному из вождей союза служащих — товарищу Валхару.

Товарищ Валхар был коммунистом из чехов. Как чех, был когда-то соколом. Как сокол, всячески, поддерживал мои физкультурные мероприятия, — почему у нас с ним возник некоторый "персональный контакт",

укрепленный дружескими беседами за бутылкой в моей Салтыковской голубятне... Это был невысокий, плотный, чуть-чуть насмешливый, для советского уровня очень культурный и для коммуниста — очень добродушный человек. Я показал ему рисунки моего посетителя. Валхар отложил в сторону свою папиросу, дым от которой лез ему в глаза, склонил голову несколько на бок и стал вглядываться. Посмотрев всю пачку, Валхар с каким-то сожалением в голосе констатировал:

— А способно, собака, рисует... Вы говорите — крестьянин?

— Крестьянин.

— Гм... — раздумчиво сказал Валхар.

— То-то и оно.

Помолчали...

— Что-нибудь надо придумать... А временно — пойдем посмотрим на этого товарища... А вдруг — Репиным будет.

Пошли посмотреть на будущего Репина. Валхар боком уселся на мой стол и испытующе стал оглядывать парня. Будущий Репин не обратил на этот осмотр ровно никакого внимания, сидел и дожевывал остатки хлеба. Осмотрев парня с головы до пят, Валхар поднял глаза в потолок, подумал и спросил:

— А вы — хорошо грамотный?

Парень вынул изо рта мокрую корку хлеба и сказал:

— Подходяще.

— Гм, — сказал Валхар. — Вас надо раньше в союз провести... — Снова подумал. — Ну, конечно, в союз... Хотите — мы вас устроим курьером в ЦК... А потом и учиться устроим... А?

Парень поспешно проглотил свою жвачку и поднял на Валхра сразу оживший и недоверчиво изумленный взгляд.

— Ей Богу?

Дальнейшее прошло легко и быстро. Парень написал заявление, на углу этого заявления Валхар "нало-

жил резолюцию", по телефону был вызван заведующий хозяйством ЦК, и парень был сдан ему с рук на руки. Этот способ приема был незаконен, но для Центрального Комитета союза не все законы были писаны. Уходя, парень сказал — "вот это здорово" — и в дверь протиснулся несколько бочком, как бы опасаясь зацепить плечом за стену и проделать в ней брешь.

Так Коля Алешин начал свою репинскую карьеру.

* * *

Я ездил по командировкам, "соприкасался с массами", ревизовал физкультуру по "мандатам" ВЦСПС, животноводство по мандатам журнала "Ударник Социалистического животноводства", Донбасс — по мандатам "Ударника угля" и еще кое-что еще кое по каким удостоверениям и полномочиям. Колю Алешина я видел редко. На жилье он пристроился в темной и сырой фото-лаборатории, обслуживавшей фото-репортеров "Дворца Труда" и его многочисленные издания, молча шагал из комнаты в комнату, разнося всякие пакеты и бумажки, в свободные минуты так же молча сидел в комнате курьеров и рисовал своих коров и коней. На предварительную учебу он попал к руководителю местного "художественного кружка", каковой кружок занимался преимущественно малеванием всякого рода плакатов и лозунгов на потребу текущего политического дня и поэтому был обеспечен бумагою, красками и прочими приспособлениями художественного ремесла. С каждым месяцем пудовые плечи Алешина худели и опускались, деревенский румянец сползал со щек, а во взглядах мелькало какое-то беспокойство. Потом, кроме рисования, Алешин стал и что-то читать: несколько раз я заставал его в комнате

курьеров, в углу, у ротатора, крепко усевшимся в какое-то измочаленное кресло и углубившимся в чтение. Иногда он изумлял меня несколько неожиданными вопросами, например: можно ли машинами делать молоко или куда денут коней, когда настроят тракторов. Несколько позже появились вопросы характера политического и весьма недоуменного. И, наконец, как-то поздно вечером, я увидел Алешина, сидящего на подоконнике в тупичке одного из корридоров рядом с какой-то девушкой. Повидимому, у них шло какое-то производственное совещание. Голоса их были приглушены и напряжены.

* * *

На другом полюсе столичной жизни вел свое странное полупризрачное бытие подмосковский пригород — станция Салтыковка, на 17-ой версте Нижегородской железной дороги. Я прожил там почти все года моей московской деятельности.

В июле 1926 года, когда я снял там свою мансарду, в Салтыковке были еще: одна мощеная улица ("шоссе Ильича"), досчатые троттуары и уличное освещение. Потом, в процессе индустриализации страны, редкие подводы стали объезжать шоссе Ильича немощенными улицами, тротуары были преданы сожжению в "румынках" местных обитателей, освещение улиц было прекращено в силу нехватки нефти. В силу этой же причины обывателям было запрещено жечь больше одной 25-свечной лампочки на комнату. Накал же был такой, что у меня на письменном столе стояла лампа в 400 свечей — при ней можно было кое-как работать. Лампа же была мною благоприобретена в одном из клубов и в момент отсутствия посторонних людей,

после исчерпания всех легальных и полулегальных способов обеспечить себе освещение рабочего стола.

В Салтыковке жило тысяч двенадцать "зимогоров". Зимогоры — это люди, работающие в Москве и жительствующие в радиусе до 50—60 верст от нее. Салтыковка имела много неудобств: потеря 2-3 часов в день на переезды, непролазная грязь в осенние вечера, необходимость таскать с собой в портфеле керосиновый фонарь для того, чтобы в эти вечера не утонуть в трясинах бывшей мостовой и многое другое. Но, пожалуй, самым обидным была "Голубая стрела" — советский люкс-экспресс, пущенный между Москвой и Нижним. В этом экспрессе несколько раз приходилось ездить и мне: великолепный поезд. Роскошные пульмановские вагоны, постельное белье, десять с половиной часов езды. По расписанию.

Но с расписанием не выходило. Где-то по дороге из Нижнего в Москву поезд неизменно запаздывал на час-полтора. Для людей, едущих из Нижнего в Москву, этот час не имел решительно никакого значения, но для зимогоров Нижегородской дороги — он был очень тяжел. В ожидании проследования "Голубой стрелы" останавливались все пригородные поезда, и тысяч двадцать людей, набитых в вагоны и на вагоны так, как не всякий специалист может уложить сельдяную бочку, торчали на станциях: Салтыковка, Никольское, Реутово, Ново-Гиреево, Кусково, Чухлинка и Москва Рогожская. В Салтыковке в поезд еще можно было сесть — не всякий, в Реутове в вагон еще можно было втиснуться — не всякий, от Реутова и дальше — люди подвешивались на поручни, балансировали на буферах и соединительных щитках, забирались на крыши вагонов. В морозные зимние утра это было очень неуютно. И вот — стоят эти обмерзшие поездка и ждут, пока мимо этих замерзших людей, цепляющихся окоченелыми руками за жгучее железо поручней, с великолепным грохотом, обдавая пролетариат снежной пылью и ледяным ветром, голубой молнией мелькнет

показательно-издевательский экспресс с его ответственными — вот вроде меня — пассажирами...

Для меня — этот голубой экспресс стал некиим символом социализма, индустриализации, пятилеток, рекламы, блефа и халтуры. Я ездил на нем. И мне, как и остальным "ответственным" и "командировочным", было решительно безразлично — приеду ли я в Москву в половине десятого или в половине одиннадцатого. Но рабочий, приехавший на работу на пять минут позже срока, терял половину дневного заработка, приехавший на полчаса позже — весь дневной заработок — это ему безразлично не было... Но "Голубая стрела" — это социализм, индустриализация, реклама: сторонись, жизнь!...

Лично для меня Салтыковка имела ряд неоценимых преимуществ: простор, тишина, почти полная невозможность мало-мальски путной слежки и, наконец, тот факт, что мансарду свою я снимал у частника...

Европейский житель, я думаю, не имеет и понятия о том, какое это великое благодеяние — частник, собственник, если хотите — даже и капиталист... Вот — снимаю я квартиру у частника и имею возможность на целые месяцы уезжать куда-нибудь на Урал, не опасаясь, что мою квартиру разграбят или отберут. А то в Москве бывает — и очень часто — так: вы уезжаете на месяц в командировку или в отпуск. Уезжая, конечно, достаете всякие бумажки, закрепляющие за вами ваше жилье. Через месяц приезжаете. Вас встречает какой-то заспанный тип: "Вам кого?" — "Как кого? Я к себе домой приехал"... — "Ну, так и ищите себе вашего дома — здесь я живу". Потом вы идете к преддомкому и стараетесь выяснить, куда девались ваши вещи, оставшиеся в квартире. Потом вы можете три года судиться или же точно таким же образом влезть в жилищную щель какого-нибудь другого неудачника. Иногда, при наличии достаточной физической силы, вы можете набить морду вашему "интервенту" и вышвырнуть его вон: пускай теперь он судится. Жилец с набитой мордой пойдет к преддомкому, преддомком

вызовет милицию, придет милиционер, очумело выслушает галдеж: ваш, вашего конкурента, преддомкома, соседей и кого-нибудь еще, составит протокол — и уйдет. Теперь судится придется не вам, а вашему конкурренту — что вам и требовалось. За мордобой вы получите после дождика в четверг "общественное порицание" или "месяц принудительных работ условно" — это называется "бытовое правонарушение", а не политическое преступление. А ваш конкуррент, поняв, что судиться-то этаким путем можно три года — но эти три года — жить-то где-то нужно — постарается забраться в чье-нибудь другое, временно опустевшее, логово... Нельзя сказать, чтобы все это было очень весело...

А я половину года имел возможность проводить в поездках и пребывать в той утешительной уверенности, что моей мансарды за это время никто не раскулачит. Зимою я ездил редко. На службе я появлялся, когда мне вздумается. В сенях моей мансарды всегда стоял десяток пар лыж, и у меня собиралась самая невероятная и, казалось бы, несовместимая публика. Каким-то таинственным российским способом она все-таки совмещалась: чекист Преде, милый батюшка из микроскопической салтыковской церковушки, главный и самый бескорыстный друг Советской России м-р Инкпин, регулярно приезжавший в Москву, чтобы выклянчить очередную субсидию, и получить очередную директиву, секретарь ЦК английской компартии м-р Горнер, наезжавший то на покаяние, то на поклонение, некоторые люди, удобно скрывавшиеся за этим прикрытием от небезызвестного недреманного ока, и много всякой молодежи... Ответственные приезжали походить на лыжах и привозили с собой еду и пития — больше питий, чем еды; молодежь уписывала ворон, которых я стрелял из малокалиберной винтовки; Преде подымал свою стопочку и говорил: "ну-ка, батюшка, благословите еще по единой"...

Когда пишешь о Советской России, приходится очень много объяснять; читателю это, вероятно, скуч-

но, но без этих объяснений трудно что-нибудь толком понять. Так, например, о воронах.

Всякого рода молодежь на салтыковскую голубятню привлекали, подозреваю, преимущественно вороны. Подмосковная же ворона — зверь опытный и пуганный, на мякине и на капканах ее не проведешь. Мы с сыном стреляли их из малокалиберных винтовок, каковых винтовок никакие частные лица ни покупать, ни держать не имели права. Я был инструктором спорта — в том числе и стрелкового, а союз служащих был союзом, который объединяет, в числе прочих "совслужащих", и работников заграничных полпредств и торгпредств с их колосальными "показательными" ставками: машинистка, служащая в берлинском торгпредстве, получает реальную заработную плату в 15-20 раз выше, чем та же машинистка в том же ЦК.

С таких "полпредских" взимали дань — "профвзносы".

Таких взносов набралось около пятидесяти тысяч долларов — и они как-то проскользнули между пальцами валютного управления наркомфина... Впрочем, валютное управление состояло из тех же "совслужащих", и китам этого управления, уезжавшим в заграничные командировки, ЦК по-свойски меняло два рубля за доллар. В виду этого, валютное управление предпочитало протягивать свою руку, а не сжимать ее в кулак.

Потом, когда с валютой стало совсем уж плохо и когда ГПУ стало выколачивать ее путем пыток и "просвечивания", — Наркомфин все же стал подбираться и к долларам ЦК. На "узком" заседании президиума ЦК решено было разбазарить их возможно скорострельнее и благопристойнее. В числе прочих способов разбазаривания я предложил закупку фото-аппаратов для культурно-просветительной работы и винтовок для стрелкового спорта. Винтовками и фото-аппаратами вооружились все "ответственные", в том числе и я. Три тысячи винтовок я все же успел перехватить и, как говорится в СССР, "спустить в низовку" — винтовки

пригодятся всегда. Таким путаным путем я был обеспечен воронами. Мы с сыном брали по винтовке и отправлялись на промысел. Если гостей не предполагалось, ограничивались парой ворон: вот вам и обед. Если ожидался наплыв посетителей — шли подальше и приносили десятка полтора-два: вот вам и пир.

***

Профессиональные союзы в СССР — это организация довольно загадочного типа. На них лежит выколачивание профсоюзных, мопровских, осоавиахимовских и прочих взносов, культурно-просветительная работа среди рабочих и служащих, а паче всего — всяческая слежка и некоторые — наиболее мягкие — виды ущемления.

Профсоюзное ущемление применяется в тех случаях, когда ничего конкретного человеку "пришить" нельзя: просто не проявляет человек достаточного энтузиазма, вид у него, скажем, оппозиционный. Тогда профсоюз начинает изводить человека всякого рода "нагрузками", переброcками, поручениями и прочим. Заподозрив человека в религиозности — предложит принять активное участие в каком-нибудь антирелигиозном мероприятии и, в случае отказа, исключит из числа членов союза. Тогда возникает такой заколдованный круг: не будучи членом профсоюза, вы не имеете права служить и увольняетесь. А будучи уволенным и не состоя на службе, — вы не можете поступить ни в какой другой профсоюз. Теоретически — это должно бы означать голодную смерть. Практически — это означает очень крупные неприятности, ибо подсоветская практика выработала целый ряд контр-мер, изворотов и комбинаций. Кроме того, все это действует преимущественно по отношению к среднему служащему. Квалифицированный специалист — если он не трус — может наплевать и на профсоюз, и на его слежку, и ничего с ним не сделают.

Дальше, на профсоюзах лежит обязанность организовать те миллионные демонстрации трудящихся, которые приводят в изумление всякого иностранного наблюдателя. Делается это так:

В 10 ч. утра звонок по телефону: демонстрация по такому-то поводу, лозунги такие-то. Профсоюзный комитет (на заводе — "завком", в учреждении — "местком") вкупе с партийной и комсомольской ячейкой сейчас же "прорабатывают" эти лозунги применительно к специальности данного учреждения или завода. Ежели это металлургический завод, то лозунг борьбы, скажем, с вредительством будет "проработан" так: "ответим на вредительство повышением выпуска качественной стали". В учреждении: "железной метлой выметем из своей среды предателей рабочего класса"... С соответствующими редакционными поправками такие лозунги будут выработаны у медиков, у шофферов и у прочих. Художественные кружки в полчаса переведут эти лозунги на кумач, который всегда для таких случаев хранится в запасе, и в половине двенадцатого партийная, комсомольская и профсоюзная ячейки расходятся по комнатам или по цехам завода:

— Товарищи, все на демонстрацию!

В руках у каждого из этих активистов список людей, которых он строит по четыре в ряд, устривает перекличку — вот вам и миллионная толпа. Как видите — не очень хитро.

В годы НЭП-а профсоюзы занимались еще кое-какими функциями по охране труда. В годы пятилеток — всякими бригадами, обследованиями, ревизиями чего попало: бригада московских машинисток и курьеров едет обследовать и ревизовать рыбные промыслы на Каспии, а сталевары завода "Серп и Молот" ревизуют постановку медицинской работы в Наркомздраве. Это называлось — "под контроль масс". Теперь это, кажется, уже бросили.

Более или менее стабильной областью профсоюзной работы является культурно-просветительная. Это — бесконечные марксистско-ленинско-сталинские

кружки, клубы, библиотеки, шахматы, шашки и, наконец, спорт — или то, что значительно точнее выражается советским термином — "физическая культура".

Оной физкультурой я заведывал все годы моего московского пребывания.

Ввиду этого, как-то под Рождество 1929 года у меня на службе появилась девушка лет девятнадцати, худенькая и стройная, с чуть-чуть лукавенькими и раскосыми глазками под упрямым лбом и в какой-то заплатанной кацавейке довоенных времен. Девушку звали Марусей — фамилии не помню. Она, оказывается, работала курьершей в каком-то центральном комитете и училась во вхутемасе*). Теперь, получив на каникулы отпуск от своего ЦК, собирается проделать трехсотверстный лыжный пробег вокруг Москвы, — так сказать, поставить рекорд. От меня требовалась бумаженка, удостоверяющая, что такая-то и такая-то действительно совершает "лыжный пробег", а не раскатывается вокруг Москвы с целями контр-революционными. Пребывание всякого постороннего человека в деревне обязательно должно быть оправдано какой-нибудь бумаженкой, иначе первый же сельсовет вас арестует: чего это вы тут зря шатаетесь.

Я посмотрел на Марусю повнимательнее. В ее лице не было ни кровинки. Гм, триста верст?

Девушке хотелось поставить рекорд. Но для рекордов в СССР существует "Динамо" (спортивное общество ОГПУ), и своих рекордсменов оно держит на специальном пайке. Моя же собеседница держалась только на пайковом хлебе — это было достаточно очевидно. На таком питании рекордов безнаказанно ставить нельзя, о чем я Марусе и доложил. Возникла небольшая перебранка. Маруся похвасталась мне замечательной техникой лыжного хода. Я не без некоторых эгоистических целей предложил ей приехать ко мне в Салтыковку и продемонстрировать эту технику

*) Высшее московское художественно-техническое училище.

мне и сыну, кстати и воронами накормлю. Вороны же были рекомендованы в качестве горных курочек, полученных мною по блату из Дагестана: свежему человеку ворону следует рекомендовать под каким нибудь псевдонимом.

В один из предрождественских выходных дней (советский выходной день соответствует буржуазному воскресенью) мне с утра пришлось зачем-то поехать в Москву и, вернувшись, я застал у себя на дворе целую кучу молодежи: одни из них прилаживали лыжные ремни и прочие приспособления лыжного спорта, другие боролись и кувыркались на снегу, но галдели решительно все. Среди них была и Маруся — в полном походном снаряжении. Снаряжение это, впрочем, состояло из тех же юбочки и кацавейки, в которых я видел Марусю во Дворце Труда. Единственной новинкой были какие-то старые валенки. Я осмотрел Марусю весьма внимательно и спросил:

— Так чтож, вот в этаком-то одеянии вы и свой трехсотверстный пробег думали предпринимать?

— А мы, товарищ Солоневич, не буржуйского корня.

— Ну, не буржуйского — так не буржуйского.

Вся компания довольно быстро собралась в путь. Я влез в свои лыжи, и мы пошли.

Сразу же выяснилось, что Марусина похвальба относительно ее техники лыжного хода имела под собою все основания. Маруся скользила по снегу, точно солнечный блик, точно в ней не было никакого веса, и ее ветром передувало с пригорка на пригорок. Да и вся группа состояла из хороших лыжников. Вследствие чего — этак через час я выдохся, отстал, побродил в одиночку и вернулся домой. Еще через час вернулась и Маруся с какой-то вовсе неизвестной мне подругой. Подруга, как и я, выдохлась, а у Маруси в глазах стояли слезы, каковые она всеми силами старалась скрыть.

— Вы знаете, товарищ Солоневич, лыжу сломала. Так обидно... Столько времени собирала деньги, да и

пара хорошая попалась... — В голосе Маруси действительно чувствовалась большая обида.

Собрать деньги на пару лыж, в сущности, было не так уж и сложно. По тем временам цена пары лыж соответствовала цене четырех килограммов черного хлеба: лыжи вырабатывались в мастерских "Динамо" руками заключенных. Но с другой стороны и четыре килограмма черного хлеба были для Маруси великой ценностью... Я утешил Марусю: я достану ей лыжи по блату — из моего склада спортивного инвентаря. В виде благодарности Маруся сказала: "ишь, какой вы добрый" и познакомила меня со своей подругой: "А это Сашка, тоже комсомолка".

Сашка оказалась комсомолкой того типа, от которого даже и партийный дух воротит. Этакое: "нам все нипочем, нам на все наплевать".

Мы поднялись наверх, в мою столовую. Столовая представляла собою комнатушку, четверть которой занимала печка, другую четверть — деревянное ложе, которое одновременно являлось потолком над лестницей, а остальное пространство было распределено между столом, креслом в углу и кое-какими проходиками для передвижения. Маруся сразу забралась в кресло — кресло было добротное, кожаное, на пружинах,— погрузилась в него и с удивлением отметила:

— Ишь ты, как ловко здесь сидеть-то...

Сашка размашисто осмотрела комнатушку: полки книг над креслом, икона в углу.

— Что это у вас, товарищ, ни одного вождя не висит?

-Так просто, из оригинальности...

—А икона — тоже из оригинальности?

—Нет, я оригинальничаю не во всем.

— Тоже — образованный человек, а Божьих морд понавешал.

Я повернулся к Сашке. Она уже успела усесться на стол и занималась разворачиванием с шеи какого-то рваного шарфа.

— Послушайте, как вас — Сашка? Если вы пришли в мой дом — так будьте добры вести себя прилично или убирайтесь вон. И сейчас же слезайте со стола — стол устроен не для того, чтобы на нем сидеть.

Тон у меня был весьма категорический, но ни в какое смущение Сашку он не привел.

— Ишь ты, какой он колючий. Прямо не подступись.

Однако, со стола слезла.

Из своего кресла в углу Маруся бросила примирительную реплику.

— Сашка, не трепись. А вы, товарищ Солоневич, на нее не обижайтесь, она у нас активистка...

Активистку в Сашке было видно за версту и такого рода публику я обычно к себе и на порог не пускал. Если мужского пола активисты, со своей слежкой, вынюхиванием, выслушиванием, разболтанностью, способны вызвать тошноту, то от женского пола активисток я ощущал позывы к рвоте. Это вот — те самые, которые "без черемухи"... Которых в порядке комсомольской нагрузки посылают для телесного обслуживания всякой коминтерновской, профинтерновской, кимовской*) и спортинтерновской сволочи помельче, — каковая сволочь непрерывно околачивается всякими "делегациями" в Москве, живет в гостинице "Люкс", где ее кормят на убой, поят до бесчувствия и еще снабжают вот такими активистками. Я начал жалеть, что обещал Марусе лыжи...

Сашка не очень охотно перелезла на стул. Я хотел было выгнать ее немедленно, но как-то постеснялся.

— Тоже подумаешь, как-бы и образованный, книгов сколько навалено — а тоже еще в Бога верует.

— На эту тему я с вами, Сашка, разговаривать не желаю, да и вам не советую. Отогрейтесь — и, мило-

---

*) КИМ — коммунистический Интернационал молодежи.

сти просим, ближайший поезд на Москву идет через полчаса.

— Вроде, как выгоняете.

— Очень похоже.

— Ну, и чорт с вами, отогреюсь и поеду. Недорезали вас.

— А вас недоделали... И кстати, Сашка, я с вами вообще разговаривать не желаю — сидите, отогревайтесь и молчите.

Маруся беспокойно вертелась в кресле. Видно было, что эта перепалка никакого удовольствия ей не доставляла.

— Вечно ты, Сашка, чего-нибудь насвинишь...

Сашка раздраженно передернула плечами:

— Я думала, что еду к своему брату, пролетарию...

На пролетария я не ответил ничего. Маруся сказала примирительным тоном:

— Для нашего молодняка, конечно, удивительно, что, если образованный человек и верующий... Я вот, тоже — никак не ожидала.

— А вам, Маруся, сколько лет?

— Да под двадцать.

— Значит, вам еще предстоит увидеть в жизни целую массу вещей, которых вы никак не ожидаете. Совсем неожиданных вещей.

— А какие могут быть неожиданности? — Маруся недоуменно повела плечами...

— Вот потому они и неожиданности, что их не ожидают...

— Это у вас не марксистский подход. А у нас, у марксистов, — все по плану.

Если Маруся и понимала что-нибудь в марксизме, то очень не на много больше, чем любой поросенок — в апельсинах. Я только сказал: "ой-ли".

— Да что тут "ой-ли"? Вот — кончу Вхутемас, буду работать.

— И замуж — по плану выйдете?

— Да, и такой план есть. — Маруся посмотрела на меня задорно и лукаво.

— И мужа — спланировали?

— И мужа спланировала.

— Тоже комсомолец?

— Обязательно.

— А кто он — не секрет?

— А вам какое дело, — Маруся засмеялась. — Вы — не комсомольская ячейка, чтобы исповедывать.

— А там — исповедуют?

— И еще как! Так другой раз намылят загривок, что ой-ой... А насчет Бога — вас надо будет разагитировать. А то в самом деле: инструктор физкультуры — и иконы! А еще мне говорили, что вы и на иностранных языках разговариваете.

— На целых четырех. А вот вы и с одним русским плохо справляетесь... Смотрите, как бы я вас не разагитировал.

— А все-таки нам это удивительно. Кажись — культурный человек.

— А вы о таких культурных людях, как Дарвин, Менделеев, Достоевский — слышали?

— Ну, так это было при старом строе.

— Пойдем, что-ль, — Сашка резко поднялась, — а то опять гнать станут...

Сашкины глаза бегали по стенкам, по корешкам книг, по иконам, — вынюхивая все, что только можно было вынюхать... Маруся поднялась:

— А вы, Маруся, оставайтесь, — сказал я.

— Оставайся, оставайся, — подхватила Сашка. — Займитесь тут поповскими делами. Компания-то до ночи не вернется, а кровать тут буржуйская, на такой кровати тебя никогда еще...

Я резко повернулся к Сашке и та, как говорят в России, "заткнулась". И весьма своевременно, — ибо у меня была тенденция вышвырнуть ее просто вон.

Маруся вспыхнула: "ну и дура ты, Сашка, и дурища!"

Я промолчал. Маруся протянула мне руку.

— Ну, так до свидания. Жаль, что так это вышло, вы уж извините.

— Извиняйся, извиняйся... А мы вами, гражданчик, еще поинтересуемся.

Я взял Сашку за плечи и тихохонько повернул ее к дверям. Этот способ обращения особого впечатления на Сашку не произвел. За ее спиной Маруся с извиняющимся лицом пожала плечами и даже насчет лыж не рискнула напоминать.

Через несколько дней после этой лыжной прогулки и трогательного моего знакомства с Сашкой прихожу я как-то в свой почти отдельный кабинет в ЦК. Кабинет был почти отдельным потому, что в нем стояло три стола, но обладатели минимум двух из них постоянно находились в соприкосновении с массами и околачивались где-то по командировкам. И вот, вижу:

За моим столом, около него и на нем интенсивно действует какая-то группа лоботрясов: ясно — налет легкой кавалерии. Ящики стола выдвинуты, дела вытащены, папки разворочены. На столе, изогнувшись капитальным своим фундаментом, сидит какая-то баба и рассматривает какой-то строительный проэкт. От бабы я успел заметить только то, что, прилипшая к углу рта папироса свешивается вниз, и пепел с нее падает на строительные планы. Баба на таком обследовании это хуже рака печени: она будет вгрызаться во всякую мелочь, поедом есть, прицепившись к какой-нибудь ерундистике, — неделями потом будет разоблачать "классового врага", сквалыжить, лазить по доносам, пока не надоест адресатам этих доносов и пока они сами не вышибут ее вон. Но пока они ее вышибут — придется мне натерпеться. Ох, придется...

Но мое внимание временно было отвлечено Колей Алешиным. Он стоял этакой тумбой у окна и рассматривал набросанный художником Алескеевым проэкт какого-то спортивного диплома. Вид у него был вдумчивый. Я полагал, что Алешин мне кое-чем был обязан и что ввязываться в это ему не следовало бы.

— А вы-то как сюда попали?

Алешин поднял на меня светлые и прозрачные свои глаза:

—А здорово нарисовано, тов. Солоневич, ей Богу, здорово... Когда это я так научусь рисовать.

И тщательно и бережно свернул лист в трубку.

Я пожал плечами и обернулся к столу. На столе, сидючи боком, в каком-то сладострастном изгибе сидела, оказывается, Сашка. На презрительно оттопыренной губе висела папироса, между низким лбом и квадратной челюстью торжествующе угнездились ехидные гляделки. Потом их торжествующий блеск потух, и Сашка сказала деловым и сухим тоном — тоном неумелого допроса:

—Что это у вас, тов. Солоневич, план этот вредительством попахивает...

"План" оказался проэктом водной станции. Увы, из-за этого проэкта я в самом деле месяцев шесть тому назад чуть было не сел в ГПУ. Проэкт стандартной водной станции с десятиметровой вышкой для прыжков был разработан лучшими специалистами Москвы и, во избежание лишней волокиты по комиссиям, утвержден лично мной. Станции были построены. И вот — в "Правде" телеграмма, что в Сталинграде построенная мною водная станция при первом же испытании обрушилась, "погребая в воду свыше восьмидесяти человек". В воде, впрочем, не погребен был никто - всех вытащили. Меня же потащили в ГПУ. С великим трудом было выяснено, что сталинградские профсоюзники на пловучей станции вышку для прыжков использовали в качестве трибуны для почетных гостей. Почетных гостей набралось около сотни — вышка, понятно, опрокинулась. На следователя ГПУ особое впечатление произвел председатель местного исполкома, который попал в воду и, не умея плавать, был вытащен пловцами, приведен в чувство и, по оказании ему первой медицинской помощи, оказался просто напросто пьяным и в пьяном виде утверждал, что станцию построили иностранные диверсанты...

Выяснил все это не я сам. Это выяснила спортивная газета, которая дала телеграмму своему корреспонденту, корреспондент ответил, добрые люди из газеты сейчас же позвонили в ЦК, и из ЦК Валхар позвонил в кабинет того же следователя, который в данный момент настойчиво выяснял мое социальное происхождение, но председатель исполкома привел следователя в юмористическое настроение, и я был с миром отпущен домой.

Положение несколько прояснилось: очевидно, Сашка, или кто-то другой, с большим запозданием прочли эту телеграмму в "Правде" и, не спросясь броду, полезли в воду. Я сказал коротко и стенографически:

— Мандат?

Сашка полезла за свой бюстгальтер и вытащила мандат — он был подписан какой-то совсем заваляшей комсомольской ячейкой. Я пробежал глазами этот мандат, молча повернулся и пошел к Валхару.

Валхару было передано содержание давешней моей перепалки с Сашкой. Голой истины я не очень придерживался — было сообщено, что так работать вообще нельзя — ну его к черту — ГПУ все выяснило, а тут еще какие-то сопляки путаются, и был сделан намек, что в числе прочих бумаг, вытащенных активистами из моего стола, есть, например, список распределения долларов на фото-аппараты и винтовки и список распределения фото-аппаратов и винтовок среди членов ЦК ВЦСПС и прочих весьма ответственных лиц.

Не знаю, какие именно соображения подействовали на Валхара сильнее всего, но подозреваю, что самоснабженческие списки оказались решающим фактором.

— Постойте, — сказал Валхар, — я к Фигантнеру зайду.

Фигантер был председателем союза. Через минуты две Валхар вышел обратно: пойдем. Пошли. Валхар — впереди, я — сзади. Пришли в мою комнату. Сашка все еще смотрела на проэкт станции — как баран на новые ворота, остальные активисты шуршали

многочисленными бумагами, уже разбросанными по столу и по полу.

Валхар посмотрел на все это удавьим взором.

— С ячейкой ВЦСПС согласовали?

Сашка, вероятно, не знала, что обследование некоторых отраслей требовало специального согласования с некоторыми специальными заведениями.

— С какою это ячейкой? — спросила она еще несколько заносчиво, но не без тревоги в голосе.

— А, с какой? Сейчас вам покажут — с какой.

Постояли. Помолчали. Сашка беспокойно ерзала на своем фундаменте и не знала, что ей говорить. Через минуту в комнату вошли два агента ГПУ — из постоянно дежурившего во "Дворце Труда" взвода.

— Вот, товарищи, эту компанию арестовать для выяснения личностей — тов. Фигантер даст потом специальные указания.

Служащие ГПУ все были членами союза советских и торговых служащих, поэтому между ГПУ и ЦК союза был некоторый специальный контакт.

Один из агентов ГПУ сказал: — "пожалуйте, товарищи?"

Сашка изумленно положила на стол проэкт станции и, оглядывая нас всех, растерянно забормотала:

— Позвольте, как же это — мы же по поручению ячейки...

— Ничего, товарищи, не беспокойтесь, там все выяснится — пожалуйте.

Компания "пожаловала". Валхар успел перехватить Алешина:

— А вас какой черт сюда ввязал? Этого — оставьте, — обратился он к агентам. Алешина оставили, и он уныло и недоуменно побрел в свою курьерскую, вероятно, размышляя о полной для него непонятности советских взаимоотношений в Москве. Сашка же не удержалась и, уходя, обернулась и потихоньку, на уровне бедра, показала мне кулак.

***

За обещанными лыжами Маруся ко мне все-таки зашла. Вид у нее был достаточно робкий. Разговор начался с извинения за Сашку: "сама она ко мне прицепилась, неловко было не взять, вы уж не обижайтесь".

Марусю лыжами я снабдил. И сравнительно хорошими лыжами. На моем складе их было тысяч пять пар, всегда можно списать десяток пар "на поломку". Акт о поломке будет подписан товарищами, которые тоже по паре лыж получили. Это в общем не хитро. И поскольку, вот, на таких поломках, утечках, усушках, утрусках и пр. построен весь советский быт — все это как-то само собою разумеется и не только "вольтерианцы", но даже и ГПУ против этого не протестует...

— А, можно, я к вам как-нибудь с мужем приеду?
— Приезжайте с мужем.

* * *

В один из очередных выходных дней Маруся появилась в Салтыковке со своим мужем. Муж, к моему великому удивлению, оказался Алешин. На этот раз он был несколько менее малоречив, чем в наши предыдущие встречи: поблагодарил меня за давнее мое участие в его судьбе и извинился за недавнее его участие в налете "легкой кавалерии". Я всмотрелся в Алешина повнимательнее. От прежней "крови с молоком" не осталось и следа, прежний долгополый сюртук был переделан во что-то более соответствующее дыханию эпохи. Сверх этого сюртука на Алешине не было надето ничего, мороз же был градусов под 20. Маруся была вооружена парой лыж, у Алешина лыж не было. Я на прогулку итти не собирался и Алешину дал свою пару, лучшую в СССР. Сейчас эта пара возвратилась таинственным путем на свою родину — в Финляндию, откуда финские мастера прислали ее в свое время на выставку спортивного инвентаря в Москву. Говорят,

что книги имеют свою судьбу. Лыжи тоже иногда ее имеют.

В этот выходной день из-за мороза никто ко мне больше не пришел. Я сидел у себя дома и писал. К вечеру в мою голубятню заглянул мой постоянный спутник по рыбной ловле — Тося, высокий, флегматичный и жилистый парень лет 25, инженер, предпочитавший своему искусству ужение рыбы и сбор грибов.

Видя, что я занят, Тося медленно разделся, стянул с себя валенки, уселся в углу, у печки и извлек с полки какую-то книгу, сообщив мне предварительно, что улов был хорош и что там, в корридорчике, стоит ведерко с рыбой.

Часа через два внизу раздался топот ног, в комнате появились Маруся с Алешиным — раскрасневшиеся от мороза и очень оживленные. Я попытался познакомить Тосю с юными молодоженами, но, оказалось, что они уже знакомы: встретились на прошлой вылазке и где-то там видались в Москве. Марусе было сообщено о наличии ведерка с рыбой и нескольких "горных курочек". Маруся взяла в свои руки бразды правления, зашипел примус, комната наполнилась соблазнительным запахом ухи... Я пока что спросил у Алешина, как он устроился.

Алешин уселся на лежанке и обстоятельно сообщил мне, что устроился он "очень ничего", поступил на какие-то подготовительные курсы во Вхутемасе, попал в комсомол...

— Столько работы — не оторваться... Отсталый я... нагонять все приходится: и по специальности, и по политграмоте... Ничего, я тебя, Маруська, еще через год — во как обставлю.

— Куда тебе, медведина, — ласково отозвалась из корридора Маруся.

— Обставлю... — Алешин удовлетворительно потянулся и расправил плечи... — Оно ничего — жизнь налаживается... Еще годика этак с два проучиться, комнатку, может, с Марусей достану где... Стану по специальности работать...

Тося поднял на Алешина свои равнодушные глаза, ленивыми и осторожными движениями собрал со стола крошки от махорки, зажег папиросу, как-то пожал плечами и снова уставился в книгу. Алешин продолжал развивать свои планы. Тося еще раз поднял на него свои глаза, снова пожал плечами и сказал:

— Ничего из ваших планов не выйдет. У меня планы были почище ваших, и то не вышло.

— А какие планы у вас были?

— Почтенные. Отец у меня большой партиец, я кончил ВУЗ. Три года еще учился в Англии — а вот, промышляю удочкой.

— По моему — это саботаж, — сказала Маруся из корридора.

Тося снова равнодушно пожал плечами.

— Называйте это саботажем. А я буду работать тогда, когда у меня за голодный паек не потребуют всего моего здоровья... Своя рубашка к телу ближе. Пока вы кончите ваш Вхутемас — так вы будете готовым фабрикатом для того света. А когда кончите — что вы будете делать?

— Как что? — рисовать.

— У нас здесь, в Салтыковке, живет скульптор Алексеев — в свое время кончил не ваш халтурный Вхутемас, а академию художеств. Рисует диаграммы для профсоюзов — стоило кончать академию...

— Если для социализма нужны диаграммы — будем рисовать диаграммы.

— Для этого не стоит ни учиться, ни здоровье терять. А ваши коровы и кони никуда не годятся.

— Почему это никуда? — обиделся Алешин.

— Никуда не годятся. Они — вы понимаете — они единоличные. Но это вы не поймете.

— Это, извините, я могу понять не хуже вашего.

— Не можете. Года через три поймете.

Замечание Тоси было удивительно. Коровы, кони и овцы Алешина были в самом деле "единоличными". Сейчас он рисовал их на много лучше прежнего, и во всех этих коровах и прочем скоте было что-то интим-

ное, избяное, я бы сказал, есенинское. Алешинская корова, у которой с хозяином или хозяйкой существует некий не электрофицированный, не механизированный и не коллективизированный контакт. Кому сейчас в самом деле нужна этакая лирическая корова? От коровы должно нести энтузиазмом, темпами, пафосом построения бесклассового коровьего общества. Тося был прав в том, что Алешин ничего этого не поймет.

Ничего Алешин и не понял.

— Тут и понимать нечего, — сказал он, — сейчас искусство должно итти нога в ногу. Выдумывать тут нечего...

Маруся появилась в прямоугольнике двери с тарелками в руках и остановилась в каком-то недоумении. Она как-то странно посмотрела на Алешина, и в глазах ее мелькнуло вроде жалости. Но отдавать своего медвеженка на растерзание Тосиному скептицизму все же не решилась...

— Замашки у вас какие-то буржуйские, товарищ Тося.

Замашки у Тоси были, действительно, буржуйские. Как-никак провел парень три года в Англии, хотя послан был на год. После этого года советская власть лишила его стипендии, он промышлял профессиональными гонками на мотоциклете и профессиональной игрой в регби. О причинах своего возвращения он предпочитал не говорить вовсе. По сравнению с моими молодоженами Тося был, если не аристократом, то во всяком случае "буржуем".

— Ну так что? — спросил Тося равнодушно.

— Ничего. — Маруся поставила тарелки. — Ничего. Только, значит, и подход у вас буржуйский. Что-ж, вы думаете, советская власть художников не ценит? Или пролетариату искусство не нужно?

— Вот, смотрите, — подхватил Алешин, — вот, во Вхутемас приняли... Работу дали.

Потребности и горизонты у Алешина были очень нешироки... Тося посмотрел на него не без раздражения.

— Вот, ей Богу, еловина вологодская, да вас с вашим талантом везде бы с руками рвали. И везде добрые люди нашлись бы... Много ли вам нужно? Кило хлеба в день.

— Н-нет, — с сомнением сказал Алешин, — кила маловато. Мне бы кила с два... — И при мысли об отсутствующих килограммах хлеба Алешин как-то вздохнул.

— Ну, а вы — вы что дальше делать собираетесь?

— Рыбу ловить. Книги читать. Сейчас вот покурю.— Тося достал свой кисет и стал сворачивать папиросу. Его длинные жилистые пальцы привычным движением свернули собачью ножку. Тося затянулся и посмотрел на молодоженов с каким-то насмешливо-грустным вызовом.

— Вышибут вас, Тося, из под Москвы, вот посмотрите — вышибут, — сказала Маруся.

— Меня не вышибут. У меня папаша — в ЦК партии (впоследствии Тосю таки вышибли: подозрительный элемент: инженер, а таскается по речкам и торгует рыбой). У меня папаша к самому Сталину более или менее вхож...

У Алешина даже челюсть отвисла.

— К самому Сталину? Ну, и как?

— Да никак. Идет — поджилки трясутся. Придет — хлопнет бутылку: ну, пронесло до другого раза. Вы на медведя ходили?

— Не-не, не приходилось.

— Жаль... Ну, в общем — в этом роде получается. У моего папаши — невеселое житье. Я уж ему говорил — давай, батька, примазывайся ко мне: сдавай свой партбилет, будем вместе рыболовничать. Будет немного голоднее, зато никаких уклонов.

— Это — оттого, что вы заграницей жили, — сказала Маруся. — Разложились.

Тося оглядел Марусю прищуренными глазами.

— Вы у доктора давно были? Туберкулез у вас какой степени?

— А вам какое дело ..

— Мне никакого. А вот вашему Кольке — дело есть. Вот так еще проваландаетесь по Вхутемасу, по комсомольским нагрузкам, ну и прочее — и лет через пять будет вас Колька хоронить...

— Ну, и что-ж. И будет. Это вы за свою шкуру дрожите...

— Своя шкура — это единственное, что есть у человека свое...

— Ну, уж будто? — усумнился я.

— Ну, вот видите, — обрадовалась Маруся, — дядя Ваня уж на что буржуй, а и тот не такой шкурник, как вы... Вот что значит — прожить три года у буржуев. Совсем парень разложился. Я говорю — п о л и т и ч е с к и разложились.

— А вы, Маруся, политически еще и не складывались.

— Это — извините, — заступился Алешин, — моя Маруся — она по политграмоте так чешет...

— Гнилой вы, — сказала Маруся, — отсталый элемент.

— Вот потому я на завод и не иду, что не хочу гнить заживо. А если вы к двадцати пяти годам сгниете — никому от этого никакой пользы не будет...

— Э, да что тут говорить, если человек, кроме своей шкуры, ничего не видит. Пойдем, что-ль, Рябушка, — Алешин с сожалением поднялся.

— Да куда вам? — стал удерживать я.

— Да по домам — пока там доедем...

— А где вы живете?

— А я в курьерской в ЦК... Маруся в общежитии каком-то...

— Раздельное жительство супругов, — съиронизировал Тося...

— Б-р-р, — передернула плечами Маруся. — Как подумаешь об этом общежитии, так уж лучше в деревне в хлеву жить...

— Отстает наше жилстроительство, — официально констатировал Алешин... — Вот — пока и приходится...

Тося вылез из своего угла и стал натягивать валенки.

— Ну, давайте одеваться, — сказал он.

Но ни Алешину, ни Марусе одеваться было не во что... Маруся зябко пожалась: "морозы-то какие пошли".

Тося натянул валенки и, надевая пальто, сказал:

— Вношу на обсуждение другой проэкт. Вместо того, чтобы вам расходиться по вашим общежитиям — идите спать ко мне, близко, отсюда минут пять, а я сюда переберусь — не прогоните, дядя Ваня? Место у вас есть, а живете вы все равно отшельником.

—Ну, конечно, валяйте...

— Ну, вот, хоть одну ночь... поспите, как следует... Ну, катимся...

Алешин как подымался из-за стола, так и застрял. Осмотрел несколько растерянным взглядом меня, Тосю, а больше всего Марусю и сказал только: "Ай, да спасибо... Идем, Рябушка, что-ль?"

Марусино личико вспыхнуло кумачем:

— Да не, не надо, я уж к себе поеду. Тоже — выдумали...

— Что, и у вас, Маруся, буржуазные предрассудки? — съязвил я.

— Никакие не предрассудки. Ну, я, конечно, его жена, какие там предрассудки. Всякий понимает...

— Всякий понимает, — вмешался Тося, — что вам и обняться-то негде...

— Пойдем уж, Рябушка, — Алешин положил на Марусино плечо слегка дрожащую руку. Я смотрел на Марусю с ироническим ожиданием.

Маруся тряхнула головой, как бы отбрасывала что-то. Потом быстро протянула мне руку.

— Ну что-ж, пойдем. — Лицо ее все еще было залито кумачем. В глазах были вызов, смущение и предвкушение ночи, — вероятно, первой — не на канцелярском столе курьерской комнаты ЦК ВЦСПС.

* * *

Тося вернулся минут через двадцать. Молча достал из кармана пальто бутылку водки и стал стягивать с себя валенки: "спать еще не хотите?"

Я спать еще не хотел. Пока Тося отводил молодоженов в их брачный чертог — Тося имел отдельную комнату — мне в голову лезли всякие мысли об этой, вот, кондовой русской силе, безумно растрачиваемой голодом, перенапряжением, бездомностью и еще чорт его знает чем. Каких бы ребят дала стране вот эта парочка, если бы она жила в более или менее нормальных условиях. А тут?...

— Почти год ребята женаты фактически — а и поцеловаться негде, — сказал Тося. — Думаю, что сегодня у них — первая брачная ночь. Ну, и житье. Не жизнь, а жестянка.

— А вы об этой жестянке с вашим папашей не говорили?

— Говорил. Он и сам знает. Папаша мой парень хороший. Ему бы выпить, закусить, да поволочиться. В остальном он разбирается мало.

— А в ЦК партии все-таки попал?

— За послушание. Только такие теперь и попадают.

— А вы не боитесь, что его, в конце концов, повесят?

— То-есть, это после переворота?

— Да, после чего-нибудь в этом роде.

Тося презрительно поморщился.

— Никакого переворота не будет.

— А в случае войны?

— Войны пока не будет. Водку будем пить?

— Нет, не буду — закусывать нечем.

— Ну, ладно, пусть подождет. Никакой войны пока не будет, — продолжал Тося. — Я, знаете, часто бываю у своего папаши, собираются у него всякие партийные киты, так что в курсе дела... С кем мы можем воевать всерьез? От Японии откупимся, отдадим КВЖД, отдадим Владивосток... А на западе? С кем воевать на западе? Польша — не противник. Польшу

пройдем, как по пустому месту. А за ней Германия с ее социал-соглашателями, с германской компартией*). Так что видите ли, И. Л., разговор идет не о перевороте, а о мировой революции.

— А вам она очень нужна?

— Мне она ни к каким чертям не нужна. Но сейчас пущена в ход машина этой революции — лучше присобачиться к ней. Вы красную армию знаете?

— Немного...

— А я вот каждый год отбываю сборы в инженерных войсках. Страшная машина. Вы себе и не представляете, какая машина.

— Но за этой машиной нет тыла, нет населения.

— Ну, это можно сказать и так, можно сказать и иначе. Я, например, в армию пойду.

— Почему?

— Во-первых, это будет единственное место, где не будут помирать с голоду. Во-вторых, у меня есть что защищать.

— Ваши удочки?

— Нет, не удочки. Ну, например, отца, брата — они у меня оба в партии. Ведь в России есть никак уж не меньше миллиона человек, которые твердо уверены в том, что в случае переворота их повесят. У этого миллиона есть еще миллионы родных... Потом — народ изголодался — просто попрет, чтобы пограбить буржуазию...

У меня было достаточно оснований, чтобы не спорить с Тосей относительно того, что будет делать русский народ в случае войны, да едва ли и сам Тося имел по этому поводу какие бы то ни было иллюзии... Но Тося принадлежал к числу тех подсоветских людей, которых сама жизнь загнала в тупик: направо пойдешь — голову отрежут, налево пойдешь — тоже голову отрежут. Выбор невеликий. Я посмотрел на Тосю не без некоторой иронии. Тося запустил обе пятерни в свою

---

*) Разговор происходил в 1930 году — до прихода Гитлера к власти.

густую шевелюру, откинулся на спинку кресла и некоторое время молчал. Молчал и я.

—А все-таки какой вы оптимист, И. Л., — сказал он... —Народ? Что вы думаете, народ? Вот вы возьмите этих двух... Вот — оба голодают, живут чорт их знает как, и целуются чорт знает где. Вот, представьте себе, власть даст им вместо общежития — ну, чулан какой-нибудь, вот вроде того, что у вас под лесенкой... Ну... и по два килограмма хлеба вместо пятисот грамм. Будут чувствовать себя на седьмом небе... Знаете, И. Л., между карасем и человеком не такая уж большая разница... Сколько веков карасей на крючки таскают, вопрос только в наживке. Вот дадут нашим комсомольцам наживку: буржуйские сейфы — это вам не мужицкая свинья. Пойдут, И. Л., пойдут. И еще как. Война — всегда грабеж. А тут под этот грабеж идеологические основания будут подведены... А наш брат, кацап, повоевать любит... хотя и богоносец... Это еще длинная будет история... Еще пойдем мы и по Берлинам и по Парижам — не в первый раз...

— С мировой революцией?

— Будет написано мировая революция. А произноситься будет: сарынь на кичку. При такой перспективе — лучше уж быть в строю. У тех — кто будет с кистенями. Простой расчет...

— Видите ли, Тося, в подавляющем большинстве случаев сарынь на кичку кончается плохо.

— Н-да, — сказал Тося, — производственный риск, но раз уже взявшись, нужно ...

— А вы-то за что, собственно, брались?

— Да за разное... Дурак был, что из Англии вернулся. Терпеть не мог никакой государственности вообще... А социалистической в особенности, — вдруг признался Тося. — Хорошо в Англии — государство, конечно, есть, но оно никому себя в нос не тычет.

Тося смотрел в потолок—что как-то не шло к его длинной, сухой и жилистой фигуре. Помолчали.

— У меня, — продолжал Тося, — расчет совершен-

но ясный. Резня приближается. Зачем я буду трепаться на заводе? Нужно быть тренированным — вот я ловлю рыбу, живу на чистом воздухе и, так сказать, коплю силы... Чтобы к нужному моменту быть сильнее других. Вот-с как...

Тося действительно был на много "сильнее других".

—И вам эта сила только для собственной шкуры нужна?

Тося ответил несколько уклончиво.

—Ну, а что с того, что вот ваш этот протеже — еще лет пять и сгниет окончательно.

— Ну, этот-то не сгниет...

— Да, — согласился Тося, — он-то, пожалуй, не сгниет. Плечи у него крепкие. Голова дубовая, работает медленно, но докапывается до сути... Нет, пожалуй, и с Алешиным сорвется: докопается, а докопавшись, пойдет переть этаким медведем, ничего перед собой не разбирая. Ну, и свернут ему шею. Ничего не поделаешь — много еще шей будет своротено... Пойдем что-ли завтра на Святое озеро? — Я там со сторожем сговорился, прорубей нарубили, окунь лезет, как по именным приглашениям. Очень, знаете-ли, интеллектуальное занятие — пасти баранов и поддевать на удочку. Вы не находите? Ну, вы — оптимист...

***

Одно время оба молодожена как-то исчезли с моего горизонта. Мне приходилось много ездить по России; к себе домой я заглядывал только урывками. Очередная встреча с Алешиным состоялась в совсем неожиданном месте: на Магнитострое.

Магнитострой в те времена представлял собою какую-то гигантскую кашу разрытой земли, новороссийского цемента, импортного оборудования, размеченных строительных площадок, экскаваторов, бараков и тысяч людей, набранных и согнанных буквально со всех концов земного шара.

Бок о бок с тридцатью тысячами заключенных и ссыльных, питавшихся гнилой картошкой и мякинным хлебом, по постройке разгуливала тысяча "иностранных специалистов", для которых были построены отдельные дома, кооперативы, столовые, бани и даже теннисные площадки. "Инспецы", одетые с иголочки, воровато, бочком, старались проскользнуть мимо рабочих и арестантских бараков, сопровождаемые нелестными умозаключениями русских рабочих и заключенных.

Я приехал на Магнитку в качестве "экономиста-плановика" некоего заведения, которое было призвано "учитывать и обслуживать" иностранных рабочих и специалистов — заведение называлось Инбюро ВЦСПС. Попал я туда вследствие любопытства своего, а также вследствие знания иностранных языков. Иностранные языки были не очень нужны — достаточно было знания еврейского жаргона, а его-то я как раз и не знал.

Иностранные эти специалисты представляли собою зрелище поистине феерическое. Там были закройщики нью-иоркского гетто, фигурировавшие в качестве металлургов, пражские парикмахеры, объявленные специалистами по кладке доменных печей, какая-то банда цирковых артистов, которая даже и специальности никакой выдумать не успела — так просто болталась и в гомерических размерах лопала икру (икра стоила на доллары — 25 центов кило, а иностранцам платили долларами) и в еще более гомерических размерах пила водку — водка стоила 12 центов литр. Рядом со знатными иностранцами население бараков — вольное и невольное — вымирало от гнилой картошки, дезинтерии — а то и просто от голода...

Это было мое первое знакомство со знатными иностранцами на стройке. Несколько позже я притерпелся, и последующие происшествия меня волновали не очень. В числе же этих происшествий было и такое:

Харьковский отдел нашего "Инбюро" прислал в Москву "совершенно секретное" донесение, из которо-

го как-то весьма неясно можно было уловить, что с американскими рабочими, приглашенными на стройку харьковского тракторного завода, дело обстоит нехорошо: пьют водку и скандалят. Меня направили "на расследование". Ничего расследовать я не успел: пока мне выписывали командировку и железнодорожный билет, пока я доехал до Харькова — харьковское ГПУ само разрубило гордиев узел американских специалистов.

Под этой маркой в Харьков попала группа чикагских гангстеров. Не знаю, что именно привлекло их к тракторному строительству: то-ли американская Америка показалась им тесной, то-ли в СССР надеялись они открыть новую Америку. Во всяком случае, приехав сюда по договору с советским правительством и поселившись в специально построенной для них вилле, они, видимо, обнаружили, что ни грабить, ни похищать здесь нечего. Заперлись в своей вилле и предались необузданному пьянству и в пьяном виде — стрельбе по прохожим. Вежливо пришло ГПУ — с иностранцами оно старается обходиться вежливо. ГПУ было принято по всем правилам этикета Дальнего Запада, где, по О. Генри, — "друзей встречают гвалтом и пинками, а врагов — спокойно и сдержанно, как это требует правильный прицел"... Расчет на прицел оправдался. Американским специалистам пришлось убедиться в бесспорном преимуществе советского ГПУ над американской полицией. После некоторой стрельбы — подъехала батарея, виллу разнесли ко всем чертям, а обитатели ее были расстреляны тут же, на развалинах. Словом, я приехал к шапочному разбору, и мне, в качестве "экономиста-плановика", оставалось только подсчитать убытки: они равнялись что-то полутораста тысячам долларов.

На Магнитке гангстеров еще не было. Но было около тысячи парикмахеров, закройщиков, комиссионеров, которым власть платила в долларах, кормила в инснабах и которые начинали смутно подозревать, что авантюра эта может кончиться не столь блестяще,

как это казалось из Нью-Иорка. Она и кончилась не столь блестяще: большинство их потом переправили в Биробиджан, в "еврейскую республику", к северу от Амура — в тайгу, в комариные болота — не многим лучше беломорско-балтийского лагеря.

Мое положение было несколько неудобным. Как-никак, я был представителем этого самого "Инбюро", и поэтому именно мне тыкали в нос: "подобрали, дескать, работничков". Я их не подбирал — чорт его знает, кто именно их подбирал. "Работнички" околачивались по стройке и усиленно наверстывали лишения сухого закона. Временами кто-то из них сваливался с лесов, временами кого-то подбирали с проломанным черепом. "Вольные" рабочие и полувольные инженеры ругались неистово. Инженеры, работавшие, как на каторге, и мечтавшие только об одном: как бы сесть в тюрьму так, чтобы это не пахло расстрелом, — питались только хлебом и кашей, а нью-иоркская рвань ела икру и рябчиков. Убийства стали принимать систематический характер, и я был занят изобретением предлога: как бы этак обеспечить себе безопасное отступление в Москву.

Такого рода занятия несколько предрасполагают к рассеянности. Погруженный в стратегические мои размышления, я бродил по стройке и остановился около какого-то парня, который сидел на пустой бочке из под цемента и срисовывал гигантский подъемный кран: зачем ему это понадобилось? Парень, почувствовал чье-то присутствие, обернулся ко мне, и я с изумлением узнал в нем Колю Алешина: - "А вы как сюда попали?"

Алешин бережно положил на землю лист фанеры с пришпиленной к нему бумагой, поднялся, пожал мне руку и медлительно объяснил, что он попал сюда в составе "ударной бригады художников", которая должна была на бумаге и холсте увековечить строительный героизм Магнитки. Героизмом от Алешина не веяло. Он похудел еще больше, вместо прежнего сюртука на исхудавших его плечах болталась измазанная

"юнгштурмовка", на меня он смотрел как-то укоризненно и неодобрительно. Я спросил о Марусе. Вместо ответа Алешин пожал плечами: — "А при чем тут Маруся? Вы, товарищ Солоневич, говорят, вот этих самых иностранцев сюда нанимали" ...

Я постарался объяснить Коле, что к найму "этих самых иностранцев" я не имел и не имею решительно никакого отношения. Алешин мне не поверил: на мне был новенький заграничный туристский костюм — рубашка с "рейсфершлюссом", каковой рейсфершлюсс всякий встречный и поперечный норовил пощупать и подергать (я собирался было брать по полтиннику за показ), а на животе болтался в чехле из желтой кожи фото-аппарат, приобретенный путем, уже известным читателю. Все это вместе взятое не внушило Коле никакого ко мне доверия. Он нагнулся, поднял свой фанерный лист, ушел, не прощаясь, и, уходя, буркнул:

— Своих пьявок мало — так еще и жидов понавезли ...

* * *

Я кое-как выкрутился. Для того, чтобы уехать из Магнитки, нужно было иметь специальное разрешение местного ГПУ — это было сделано для того, чтобы предотвратить побеги инженеров и рабочих с этой героической стройки. ГПУ перед тем, как дать это разрешение, запрашивало соответствующее разрешение в Москве — в данном случае мое Инбюро: считает ли соответствующее учреждение, что товарищ X, командированный им на Магнитку, свое задание уже выполнил? ...

Все это — очень сложно. Но вся эта сложность была благополучно преодолена, и я вернулся в свою Салтыковку. В Салтыковке заперся у себя дома и строчил свои магнитогорские наблюдения — они потом пропали при попытке нелегально переправить их заграницу. Около недели я просидел у себя дома, заявляя в ЦК, что работаю "по мобилизации" Инбюро, а

в Инбюро — что выполняю срочную работу для ЦК. Приходил ко мне Тося, мы с ним удили рыбу и вообще — прохлаждались... Тося, кстати, сообщил мне, что вместе с Алешиным на Магнитку как-то увязалась и Маруся.

— Не жена, а клад, — вздохнул он. — Только этого клада и держать негде. Хочу им свою комнату уступить — пусть живут. А я к вам переберусь, — не будете возражать?

Возражения у меня нашлись. Тося вздохнул еще раз: жалко ребят, хорошие ребята... На этом разговор о молодоженах как-то прекратился...

***

Месяца через полтора-два, придя не очень рано к себе на службу, я нашел на столе очень неприятную вещь:

"С получением сего предлагается Вам явиться в спецотдел ОГПУ, Лубянка 2, комната № 0000 в качестве свидетеля по делу № 00000 такого-то числа и в такой-то час".

Час был уже пропущен — было около двенадцати. Было несколько минут неприятных размышлений: то-ли итти сразу домой и из дому — на финляндскую границу, то-ли принять ГПУ-сское приглашение. Но финляндская граница была утопией: брат еще сидел в ссылке в Томске. Да и повестка пришла на службу — следовательно, по какому-то служебному делу — тут под меня подкопаться было трудно. Да и обыска дома не было. Не в первый раз меня этаким манером приглашали в ГПУ — всегда была нервная рабья дрожь, — но пока что все это сходило благополучно...

Конечно, по формальным соображениям можно бы отложить трогательный этот визит до завтра. Но, еще сутки мучиться догадками и вопросами? — Нет, лучше пойти сразу. Пошел.

В комендатуре мне сделали свирепый выговор за опоздание. Я объяснил, что с утра был на заседании.

Дежурный позвонил куда-то, написал мне пропуск — третий этаж, направо, комната такая-то, — и предупредил: для выхода из здания надо иметь специальное разрешение от вызывающего меня следователя. Я поднялся по лестнице, ощущая себя Даниилом во рву львином — из каковой рва без какого-то разрешения и выйти нельзя... Неуютное ощущение.

Стучу в дверь с указанным номером: "войдите". Вхожу. Обыкновенная канцелярская комната. Обыкновенный канцелярский стол и за столом — следователь. Я извинился за опоздание.

— Нет, ничего. Я собирался было звонить вам, ну, садитесь...

Сесть оказалось не на чем. Следователь извинился, сбегал в соседнюю комнату и принес стул. Я тем временем осмотрел стенки и окно. На стенках были только портреты вождей, а сигануть в окно не было никакой возможности — окно выходило во внутренний двор ГПУ.

У меня очень плохая память на лица. Усевшись на стул, я вспомнил, что этого следователя я когда-то видел... Да, конечно, именно он вызывал меня по делу моего брата — и тогда был изысканно любезен. И сейчас — вид у него этакий непринужденно великосветский. И даже разговор начинается в непринужденно-веселом тоне...

— Вот, извините, такое крупное учреждение, как наше — а стульев не хватает... Ну, усаживайтесь.

Я уселся — с таким чувством, как люди усаживаются на кресло зубного врача... Следователь полез в ящик стола, вытащил оттуда какую-то папку. Что-то посмотрел, закурил папиросу, предложил и мне.

— Мы с вами, кажется, уже знакомы — по делу вашего брата?

— По этому делу вы меня и сейчас вызвали?...

— Нет, нет, совсем по другому. Хочу вас предупредить — вы вызваны исключительно в качестве свидетеля; против вас мы решительно ничего не имеем.

— Даже против сталинградской водной станции? - кисло пошутил я.

Следователь посмотрел на меня уголком глаза.

— А вы знаете, на вас был... было заявление. Заговор с целью утопить головку сталинградского аппарата...

— Посоветуйте им писать детективные романы...

Следователь закрыл папку и откинулся на спинку стула.

— За такие романы мы сажаем в подвал... У нас достаточно дела и без романов... Вот, например... Скажите, вы иногда работаете в ЦК до поздней ночи, иногда даже и ночью. Что вы там делаете?

— Я очень плохо пишу от руки, а машинки у меня нет... Так что я во внеслужебное время работаю над своими книгами...

— Да, это я знаю — роман пишете?

— И роман пишу.

— Так... В соседнем помещении находится комната курьеров, и в этой комнате стоит шапирограф — так?

— Так.

— Постарайтесь вспомнить — это весьма существенно — вам не приходилось слышать, чтобы на этом шапирографе кто-нибудь работал по ночам?

— Нет, не приходилось.

— А вы подумайте, постарайтесь вспомнить.

Я сделал вид, что "стараюсь вспомнить" и постарался сообразить в чем тут загвоздка?

Данных для каких бы то ни было соображений было еще слишком мало. Я начал мямлить:

— Видите-ли, товарищ...

— Садовский...

— Видите-ли, товарищ Садовский... Вход в комнату курьеров находится за углом... из другого коридора... Мне никогда не приходилось заходить туда ночью... Трудно вспомнить... если бы сказали, в чем тут дело — может было бы легче...

— А вы не торопитесь . . . — Садовский усмехнулся: таким-де наивным приемом его не проведешь. — А вы не торопитесь — и до дела дойдем. Скажите, пожалуйста, кто у вас бывает в Салтыковке?

Дело начинало приобретать плохой оттенок. Ежели разговор заходит о Салтыковке, то, значит, мое приглашение сюда не имеет никакого отношения к моей многополезной служебной деятельности. Нужно как-то оттянуть время.

— Знаете, товарищ Садовский, я был совершенно убежден в том, что вы совершенно точно знаете, кто у меня бывает . . .

— Нет, нет, вы не беспокойтесь. Против вашей Салтыковки мы ничего не имеем. Ни против вашего "Красного синяка". Замечательный клуб.

Я почувствовал себя несколько неуверенно. Я вовсе не думал, что ГПУ знает обо всех моих посетителях и гостях, и также не думал, что ГПУ знает о существовании "Клуба красного синяка". Этот клуб был изобретен Юрой. На сосне во дворе были подвешены мешок с песком и пенчинг-болл, и я обучал Юру и еще троих ребят боксу. Юра решил как-то окрестить это мероприятие: ежели бокс — так как же без синяков? А какие синяки могут быть в Советской России? — Разумеется, красные. Отсюда и клуб "Красный синяк". Гм . . . Садовский знает и об этом? О чем еще может он знать? Я начал было сожалеть, что вместо визита в ГПУ не драпанул прямо на финляндскую границу . . . Получается что-то вроде игры кошки с мышкой. Нужно поддерживать великосветский тон.

— Ну вот, видите, вы и о "Красном синяке" знаете . . .

Садовский посмотрел на меня с чуть-чуть торжествующей улыбкой, которая должна была выражать мысль: "Уж это не беспокойтесь; все, что нам нужно, мы знаем и без вас" . . . А что он знал в самом деле? Может быть, знал и то, чего ему, с моей точки зрения, и знать никак не следовало . . .

— Так кто же бывал у вас в Салтыковке?

Я пожал плечами.

—Самые разнообразные люди. У меня — нечто вроде профсоюзной лыжной станции.

— И это знаем. И на станции — ни одного портрета вождя. И много икон. И даже портреты царской семьи...

Портрет царской семьи, действительно, висел — только это была старинная фотография семьи Александра Второго, и на ней — юношеская фотография Александра Третьего, к которому я питаю какие-то особо дружеские чувства. Не верноподданные, а какие-то дружеские... Которые можно сформулировать в двух выражениях — в одном, очень неточном: "с таким дядей я бы договорился", и в другом — очень точном: "если-бы вместо Николая Второго был-бы у нас на престоле Александр Третий, так он бы всю революционную шпану перевешал бы в два счета, и не приходилось бы мне и миллионам других русских людей сидеть по кабинетам, камерам и лагерям ГПУ. Мне всегда вспоминалась горьковская фраза, вложенная Горьким в уста нижегородского рабочего: "вот это был царь — знал свое ремесло!" Я люблю людей, знающих свое ремесло...

Я ответил, что и царский портрет висит — только не Николая II, а Александра II, просто старинный дагеротип. И понял — вынюхала его Сашка. Но откуда Сашка могла в этой пожелтевшей фотографии разобрать царскую семью пятидесятых годов?

Положение становилось неуютным... Однако, к вопросу о фотографии, об иконах и о вождях Садовский предпочел не возвращаться.

— Вы не беспокойтесь — против вашего "Красного синяка" мы ничего не имеем. Так все-таки кто же у вас бывал?

Я назвал десяток наиболее привиллегированных имен из числа своих посетителей.

— Ну, это мы все знаем, — несколько пренебрежительно бросил Садовский, — а вот, вы скажите луч-

ше, кто у вас бывал из троцкистов? — Садовский посмотрел на меня в упор. Мне стало легче.

— Троцкистов? — Я пожал плечами. — Во-первых, ежели и бывали, то они в качестве таковых мне не рекомендовались. И во-вторых, — как это вы, товарищ Садовский, совмещаете иконы и царскую семью с троцкистами?

Садовский помолчал, достал из ящика стола коробку папирос, протянул мне, мы закурили. Садовский выпустил кольцо дыма, посмотрел, как оно растаяло в воздухе и сказал — спокойно и веско:

— Вы, товарищ Солоневич, имейте ввиду: ваше прошлое мы знаем. Вы должны понять: если мы вас терпим, то потому, что мы знаем вашу работу.

— Спасибо, — а кто меня таскал в ГПУ из-за сталинградской водной станции?

— Ну так что-ж — выяснили и больше ничего... Так вы понимаете, товарищ Солоневич... мы знаем, что вы хороший работник по физкультуре, мы знаем, что вы монархист, но поскольку вы политикой не занимаетесь и работу свою делаете — мы вас не трогаем. Но у нас — вполне достаточно данных, чтобы вас за ваше прошлое... вы понимаете?...

— Тут и понимать нечего...

— Очень рад... Так вот: мы знаем, что у вас бывали троцкисты, мы это знаем. Нам нужно знать — какие именно разговоры они вели.

Я без еще достаточных к этому оснований сообразил, что Садовский идет очень стандартным путем: сначала запугать, а потом выспросить. Но ежели ГПУ в целом знает об одиозном прошлом — впоследствии выяснилось, что и знало-то оно весьма немного, — то личное отношение товарища Садовского к этому прошлому ничего изменить не может. Садовский думал запугать и достиг совсем другого результата. У меня даже появилось чувство некоторого облегчения. Садовский дал мне в руки очень сильный козырь...

Я выдержал некоторую паузу...

— Мы с вами, товарищ Садовский, как-будто на-

чинаем играть в прятки. Вы обо мне знаете все. Я тоже не гожусь в институтки. Давайте ставить вопросы проще: если вы посадите в подвал лишнюю дюжину троцкистов, — я охотно вам буду помогать. Но я не знаю — о чем собственно вы меня сейчас допрашиваете.

— Я вас сейчас спрашиваю — какие именно разговоры велись у вас дома?

—И вы всерьез думаете, что эти пьяные разговоры я оформлю в виде письменного документа и скреплю своей подписью?

Садовский посмотрел на меня, как мышь на крупу, и сказал неуверенно:

— Нет, ваша подпись не обязательна...

— Я и без подписи ничего показывать не буду.

— Ой-ли?

— И вот почему: если бы я с вами разговаривал не так, как сейчас, а за литровкой, так и вы, вероятно, что-нибудь ляпнули-бы лишнее. А делать из этого документ? Ну — вот вы меня припрете к стенке. И я вам напишу, что говорили такие-то и такие-то, — я назвал несколько весьма ответственных фамилий, — знаете, может выйти конфликт... Насчет очередей — все ругаются... Подумаешь — троцкизм...

Садовский слегка прищурился — пренебрежительно и подозрительно.

— Не об очередях я вас спрашиваю. И не о царских портретах. Не следовало бы вам разыгрывать наивность... Царские портреты нас не интересуют. Даже больше: мы уважаем людей, которые не пытаются принимать коммунистической окраски... Поверьте, мы умеем ценить честных людей (я усумнился в сердце своем). Не в том дело. Скажите, как к вам попал Николай Алешин — такого вы вероятно знаете?

Весь вопрос предстал с другой, еще очень неясной, точки зрения. Коля Алешин? Да причем он тут? Алешин был — по слишком самоуверенному моему мнению — слишком прозрачен, чтобы о нем вообще

стоило разговаривать в ГПУ. Я удивился совершенно искренно.

— Об Алешине я могу вам все рассказать.

— Ну-ка, расскажите.

Я рассказал — скрывать тут было нечего. Детали моего рассказа в любой момент могли быть подтверждены показаниями коммунистов из ЦК — и только к концу рассказа я заподозрил, что дело, может быть, вовсе и не в Алешине, что Алешин использован только для отвода глаз. Садовский выслушал мой доклад молча, иногда постукивая по полу подошвой своего красноармейского сапога и взглядывая на меня как-то неопределенно: не то одобрительно, не то подозрительно. Доклад, впрочем, был короток.

Когда он был закончен, Садовский снова преподнес мне сюрприз:

— Так, говорите, роман пишете?

— Нет, не роман — только отдельные наброски...

— Так-с... Я вам очень советую показать его нам...

Я почувствовал себя чрезвычайно неприятно: шапирограф, Салтыковка, "Красный синяк", троцкисты, Алешин, роман — так в чем же тут дело? С которой стороны ГПУ собирается схватить меня за горло? Когда знаешь, с какой именно стороны, — можно выдумать какую-то систему обороны. А когда не знаешь? Вот и сейчас — ничего непонятно. Начали с шапирографа, а кончили романом.

Этот роман я писал года три. Но насколько мне помнилось, решительно никому и решительно ничего о нем не говорил. Откуда Садовский узнал об его существовании! Рукопись романа делилась на две части: одна лежала более или менее открыто, другая сохранялась в тайнике, для ГПУ безусловно недоступном. Сейчас, после нашего побега, в том же тайнике лежат обе части.

Откуда Садовский знает об этом романе? И зачем он ему нужен? Я почувствовал, что Садовский готовит мне какой-то совершенно непредусмотренный

мною подвох и с какой-то совершенно непредусмотренной стороны. Нужно было выиграть хотя бы несколько минут для оценки положения.

Я недоуменно посмотрел на Садовского...

— А скажите, пожалуйста, с какой стороны вас может интересовать мой роман?

Садовский сделал благодушно-иронический жест.

— Наша обязанность — интересоваться всем. Почему бы нам не интересоваться и литературой? А кстати — какой теме посвящена ваша работа?

— Так сказать — психологические и сексуальные сдвиги...

— Я к вам завтра пришлю человека — вы ему передайте вашу рукопись. Ничего против не имеете?

— А если бы и имел?

Садовский усмехнулся.

—Видите ли, товарищ Солоневич, если бы нам ваша рукопись очень была нужна — вы понимаете... Мы получили бы ее несколько другим путем...

Я, конечно, понимал. Пришли бы, устроили бы обыск и забрали бы и то, что нужно, и часть того, что совсем не нужно, чего я припрятать еще не успел. Литературная профессия в Советской России имеет некоторые технические стороны, неизвестные буржуазным писателям... Конечно, Садовскому я передам только то, что с точки зрения ГПУ носит совсем уж вегетерианский характер... Но все-таки — зачем ему это нужно?...

Очень было нетрудно догадаться о моем недоумении. Садовский смотрел на меня не без некоторого, так сказать, внутреннего удовлетворения — как, вероятно, смотрит всякий следователь, уловивший заподозренного в какую-то очень хитрую сеть... А заподозренный сидит совсем балдой и ничего не понимает. Такой балдой сидел и я.

— Да вы не волнуйтесь... Ваша рукопись не пропадет...

Опасность пропажи рукописи меня волновала очень мало: рукопись была написана в трех экземплярах.

— А мы, — продолжал Садовский, — ее просмотрим... Знаете, совет ГПУ никогда не помешает... Могут быть некоторые уклоны...

Уклоны, конечно, могли быть, но Садовскому я их не покажу — не может же он не понимать этого. Если бы рукопись была взята в порядке обыска, Садовский получил бы ее всю, или, по крайней мере, он бы думал, что это вся рукопись. Но если я дам ее сам, то Садовский получит только те морсо шуази, которые, по моему мнению, не затронут его чекистской невинности. Не может же он не понимать этого? ...

— Так, значит, я вам завтра пришлю человека...

Вечером я подобрал подходящие для Садовского избранные места, утром ко мне на службу пришел темной наружности дядя, от которого на пять верст пахло не очень секретным сотрудником ГПУ, отозвал меня в уголок, вынул из кармана ГПУ-сское удостоверение, забрал рукопись и исчез, оставляя меня в полном недоумении: то-ли сразу драпать на финляндскую границу, то-ли еще переждать... Для паники не было как-будто никаких оснований: обыска у меня не устраивали, обращаются вежливо; на всякий случай я поговорил с Валхаром. Валхар недоуменно поднял брови: "Роман? На какого чорта сдался им ваш роман?"

Я сказал, что вот на счет этого самого чорта и я решительно ни черта не понимаю. Валхар выразил свое недоумение еще раз — на этот раз в формулировках значительно более крепких. Я рассказал ему — суммарно и в самых общих чертах — весь ход странного этого допроса... Валхар вынул папиросу изо рта и принял вид человека, решающего крестословицу. Крестословица оказалась ему не под силу. Троцкисты? "Красный синяк"? Алешин? Роман?

Валхар снова зажег потухшую было папиросу и

размышления свои резюмировал в мало вразумительной форме:

— Н-да, учреждение загадочное...

Это я знал и без него.

— А вы не паникерствуйте. Надо считать, что ничего за вами нет, а если прицепятся, — я кое с кем поговорю... Что они, сукины дети, зря треплют работников ЦК!...

***

Как я уже говорил, центральный комитет профессионального союза служащих объединял под никому ненужной эгидой своей и работников ГПУ, почему между ЦК и ГПУ существовал некоторый специальный и весьма трудно уловимый контакт. Так, например, ЦК давал всякие вспомоществования и ссуды. Работники ГПУ — при прочих их достоинствах и недостатках — публика весьма подверженная всяким неприятностям. Работа палача — нездоровая работа. Лет пять-шесть такой работы среднего человека выматывают окончательно. Тогда его за ненадобностью или расстреливают, или, что бывает реже, выбрасывают вон. Выброшенный чекист — совсем пропащая личность... И такие вот личности — вчерашние следователи и палачи — приходят в ЦК и просят сотню рублей на пропой души или путевку в какой-нибудь дом отдыха... Были очень странные сцены — когда меня, за разъездом по кисловодским трудовым массам остальных ответственных и мало-мальски толковых работников ЦК, посадили на выдачу этих самых пособий. И вот, приходили ко мне изъеденные расстрелами и кокаином люди и истерически требовали хоть десятку. В подтверждении своих моральных прав на эту десятку приводились заслуги: ранения, расстрелы, полная моральная и нервная изношенность. Просители предполагали, что в моих глазах стаж расстрелов и сыска является достаточно убедительным

доводом для выдачи ссуды. Я не давал. Посетители шли к коммунистам ЦК, и те тоже не давали.

Вчерашних палачей, сыщиков и расстрельщиков, бившихся в истерике на полу канцелярии ЦК, выводили или при помощи милиции, или при помощи ГПУ-сского патруля. Никогда еще в своей жизни я не видал, чтобы продажа души чорту оказалась выгодным предприятием.

Во всяком случае, факт принадлежности работников ГПУ к почтенному союзу советских служащих создавал некоторые интимные связи между головкой ЦК и некоторыми средними звеньями ГПУ. В силу этого обстоятельства обещания Валхара кое с кем поговорить несколько успокоили мою смятенную душу.

Через несколько дней — телефонный звонок. Подхожу. "Товарищ Солоневич?" — "Да, я у телефона." — "Говорит Садовский — не можете-ли вы сегодня в двенадцать заглянуть ко мне?"

Ох, если-бы от меня зависело — ввек бы не заглядывал. Но так как от меня не зависело, — пришлось заглянуть.

* * *

На столе у Садовского лежала моя злополучная рукопись.

— Замечательно написано, — сказал он. — Очень интересно написано. Усаживайтесь.

Я уселся.

— Не думаю, впрочем, чтобы в таком виде ее пропустил Главлит. Да... Но чрезвычайно интересно... Особенно шрифт машинки... Скажите, на какой машинке вы ее писали?

Я сказал.

— Правильно, — подтвердил Садовский. — На "Ундервуде" № 0000. Очень интересно.

Я почувствовал, что в чем-то и как-то я попался. Вся эта история начинала принимать окончательно детективный характер. И что самое худшее — ничего

я в ней не понимаю. Началось в Салтыковке — кончается пишущей машинкой... Я смотрел на Садовского с совершенно искренним изумлением.

— Н-да, шрифт интересный, — еще раз подтвердил он. — А вот эта рукопись — вам совсем неизвестна?...

Садовский протянул мне отпечатанный на ротаторе листок. Начинался он так.

"Товарищи рабочие и крестьяне, товарищи красноармейцы, трудящиеся массы нашего советского союза истекают кровью и голодом, в нашем трудящемся союзе царствуют палачи и воры народного достояния"...

Дальше листовка говорила о голоде, о расстрелах и — очень подробно — о Магнитострое: о том, с какой беспощадностью эксплоатируется вольная и невольная рабочая сила, о том, как кормят привилегированных нью-иоркских закройщиков и как вымирают непривилегированные лагерники. Листовка была написана откровенно безграмотно. Но из каждой ее строчки лился пафос смертельной ненависти к власти, и заканчивалась она призывом к товарищам красноармейцам, рабочим, крестьянам и комсомольцам резать носителей власти безо всякой пощады где попало и чем попало и создавать террористические группы в предприятиях, заводах, совхозах и прочем. Подписана была листовка каким-то союзом молодежи — я уже не помню, каким именно. Кажется, "союзом мыслящей пролетарской молодежи" — таких союзов имеется весьма значительное количество. И режут они весьма значительное количество всякого рода носителей власти..

— Как вам нравится? — таинственно спросил Садовский.

Мне листовка, конечно, нравилась весьма, но признаваться в этом было бы несколько неуместно. Я пожал плечами...

— Занятная прокламация, — сказал Садовский.

— И занятный шрифт... Вы не находите сходства вот с вашей рукописью?...

По моей спине пробежал холодок и поползли мурашки... Конечно, оригинал этой листовки печатался на той же машинке, что и мой роман... Для констатации зловещего этого факта не нужно было и экспертизы. Но экспертиза, оказывается, была уже проделана. Садовский встал, засунул руки в карманы и сказал мне серьезно и веско:

— Вот видите, товарищ Солоневич, для вас было бы значительно лучше, если бы вы сразу сказали: кто, кроме вас, работал по ночам на машинке и на ротаторе.

— Вы, повидимому, подозреваете меня в авторстве?

Садовский передернул плечами.

— Если бы мы вас подозревали, я бы пригласил вас несколько иным способом...

Это, конечно, было совсем очевидно. Если бы в авторстве *такой* прокламации ГПУ подозревало бы меня, то, конечно, обыск у меня сделан был бы давным давно, и я давным давно сидел бы в каком-нибудь подвале.

Садовский смотрел на меня сумрачно и сурово. Я снова начал мечтать о финляндской границе — на этот раз мечтания мои казались мне безнадежно запоздалыми... Не трудно было вязать цепь, так сказать, косвенных улик: шрифт машинки, моя недавняя поездка в Магнитострой — почему это ГПУ меня до сих пор не арестовало?

Как бы услышав мой невысказанный вопрос, Садовский сказал:

— Если мы вас до сих пор не арестовали, то только потому, что эта прокламация была выпущена до вашей поездки на Магнитострой.

Не арестовали *до сих пор*. А что будет после "сих пор"? Вид у Садовского был не особенно утешительный. Я молчал.

— Так — вот видите. Прокламация написана на

вашей машинке — то-есть, на которой вы работаете. Я вас спрашивал, кто еще на ней работает. Вы не сказали. Теперь вы, вероятно, понимаете свое положение...

Я кивнул головой. Свое положение я понимал немногим хуже Садовского. И понимал также, что ежели бы за моей спиной не было центрального комитета служащих, с которым Садовскому не очень хотелось ссориться, то это положение было бы более или менее безнадежным.

— Так вот: за расклейкой этих листков был арестован Николай Алешин.

Садовский сел на стул, закинул ногу за ногу и иронически стал барабанить пальцами по столу:

— Вы понимаете?

Я опять же понимал: петля затягивается.

— Дело заключается вот в чем: мы не можем добиться от Алешина признания — кто фабриковал эти контр-революционные листки. Не вы их фабриковали, это мы знаем. Но вы можете знать, кто их фабриковал. Вы самый старый работник в ЦК, и вы знаете там все входы... Мы весьма сильно подозреваем, что авторы этих листовок вам небезызвестны.

— Понятия не имею...

— Ну, допустим... Во всяком случае, там у вас, в ЦК, имеется троцкистская банда... Я допускаю, что до сих пор вы, ну, скажем, не обратили на нее благосклонного внимания. Так вот — вам и предлагаю: обратите внимание и дайте знать нам.

Все стало ясным: вся путаная цепь допроса, "Красный синяк", роман, Алешин, а также и то, что Садовский, прижав меня в угол совокупностью косвенных улик, предлагает мне почтенный пост секретного сотрудника ГПУ. Неплохой выбор! Только малость ошибочный. Надо полагать, что Садовский меня выпустит, — и драпану же я! — только меня и видели... Но как попал во всю эту историю Коля Алешин?

Должен сознаться — если бы дело шло о всамделишних троцкистах, то я решительно ничего не имел бы против, чтобы ГПУ их поймало и разменяло: чем больше эта публика будет резать друг друга, тем лучше для нас всех остальных. Но Алешинская листовка никаким троцкизмом и не пахла.

Я постарался выгадать время для размышления.

— Никогда не мог предполагать, что Алешин станет заниматься такими делами... Он, вероятно, у вас уже сидит?...

— Сидит. Так что вот: вы понимаете, что у нас достаточно данных, чтобы посадить и вас. Но мы, — Садовский сделал либеральный жест, — мы предпочитаем пока к такой мере не прибегать. Против вас мы имеем подозрения. У вас есть единственный способ — помогите нам эту банду раскрыть. Вас во Дворце Труда все знают, и вы всех знаете. Недели вам будет довольно?

Недели мне было довольно. Или, по крайней мере, мне так казалось. Дать через десятые руки телеграмму Борису, — конечно, не по его адресу, — коечто загнать и позаботиться о том, чтобы след мой простыл окончательно и безнадежно.

— Значит, вы согласны? — спросил Садовский.

Соглашаться сразу было столь же неразумно, как и отказываться. Я стал мямлить: я-де никогда в жизни не занимался искусством сыска... Садовский посмотрел на меня несколько пренебрежительно.

— А вы жену Алешина знаете?

— Знаю...

— Мы ее выпустим...

— А она тоже сидит?

— Мы ее выпустим, и мы требуем, чтобы вы у нее или не у нее узнали, кто именно организовал эту банду. Поняли?

Что уж тут понимать! Тон Садовского потерял свою великосветскость, и в нем появились ультимативные нотки.

— Словом, мы вам даем неделю сроку... Через неделю я вас вызову. Ну, пока.

Аудиенция была закончена. Я вышел на Божий свет, посмотрел на загруженную трамваями Лубянскую площадь и не без некоторого удовольствия подумал о том, что вижу я ее в последний или предпоследний раз: телеграмма Борису, скорострельная ликвидация двух фотографических аппаратов — и поминай, как звали...

Я уныло плелся от Лубянки на Солянку и чувствовал себя отвратительно. Конечно, сейчас, после сегодняшнего допроса никакого выбора у меня нет: нужно бежать немедленно. Товарища Солоневича в списках сексотов ГПУ товарищ Садовский не дождется — это уж извините. Но ничего не готово для побега. Брат в Томске, в ссылке, Юра в это время был в Берлине. Денег у меня, примерно, ни копейки. Стоит весна — болота в Карелии, вероятно, совсем непроходимы... Значит, надо нацеливаться на персидскую границу... А куда нацеливаться брату? Я-то все эти маршруты и возможности более или менее изучил, а он? Не махнуть ли сразу в Томск? А оттуда как-нибудь вместе и вдвоем?

Главное — нужно загнать фото-аппараты. У меня было два: "Лейка" и "Неттель", каждый ценой около пяти тысяч рублей — цена для мирного гражданина совершенно непосильная. Впоследствии, перед побегом 1933 года, я загнал их... редакции "Правды" и таким образом побег наш был финансирован центральным органом коммунистической партии. Это дает некоторое ироническое утешение. В тот день этого утешения еще не было, и я никак не мог изобрести — кому бы мне продать эти аппараты, да еще в такой короткий срок: Садовский дал мне неделю.

Размышляя таким образом, я добрел до своего ЦК, уселся в пустой своей комнате и продолжал размышлять. Размышления были невеселыми.

Дверь в мою комнату не была закрыта. В ее прямоугольнике появилась фигура товарища Преде. Как-

то скривив на бок свою рыжую бороденку, товарищ Преде спросил меня иронически:

— О своей жизни думаешь?

Я ответил что-то вроде "угу". Товарищ Преде осмотрел соседнюю комнату — она тоже была пуста —сел на соседний стол, набил свою трубку и сказал диагностическим тоном:

— Да, подумать есть о чем!...

Я уставился на Преде не без некоторого недоумения, тревожного недоумения: вот же, оказывается, знал же Садовский о моем романе — в какой степени исключена возможность того, что товарищ Преде знает о моих планах побега?

— Н-да, дела у тебя, можно сказать, — ниже уровня... И угораздило же тебя с этим олухом связаться.

— С каким олухом?

— Да, вот с этим — с Алешиным...

Как я уже говорил, Преде в ГПУ был совсем своим человеком. Стало ясно, что о моем вызове к Садовскому он уже знает и что разговор этот он начал не совсем зря.

Я пожал плечами.

— Во-первых, я с ним не связывался. А во-вторых, чем зубоскалить — посоветуй что-нибудь.

Преде сделал вид, что вздыхает.

— Трудно посоветовать. Трудно. Но кое-что можно придумать... Не здесь, конечно... Заходи ко мне вечерком, обсудим...

Я подумал о том, что это приглашение сделано тоже не без ведома ГПУ. Но расспрашивать было поздно. Ко мне кто-то пришел, и Преде вышел из комнаты, сказав только:

— Часам к восьми.

***

Часам к восьми я, конечно, пришел к Преде не возлагая на визит этот почти никаких надежд, кроме одной: что-нибудь все-таки вынюхаю. Разумеется,

сразу же сели за водку. По той системе, которой в этой области науки придерживается большинство коммунистов, Преде начал с того, что высосал целый стакан и потом закурил трубку. В России вообще пьют почти без закуски. Привычка. Закусывать более или менее нечем. Раскурив трубку, Преде задал мне новый иронически-бессмысленный вопрос:

— Влип?

Я тоже выпил стакан водки и предложил Преде бросить к чортовой матери всякую таинственность: я и сам знаю, что влип, но в чем тут дело?

— Ну, это не так сразу, — сказал Преде, — выпьем еще.

Выпили еще.

— Дело тут такое, — начал Преде академическим тоном. — Есть какая-то молодежная организация. Мы за ней уже больше года охотимся... Вредительские акты... Террор. Прокламации расклеивают и разбрасывают... Так вот, Алешина, твоего Алешина, — ввернул Преде, — за этими прокламациями и поймали.

— А я-то тут причем?

— Об этом — после... У нас — боевое задание: поймать центр этой организации. Твой Алешин молчит, как дуб... Ну, конечно, — заставят говорить... Есть способы... Но мы предпочитаем этих способов избегать... Все-таки — комсомолец... Да, так вот — все следы ведут в ЦК... Ну, вероятно, тебе уже объяснили — машинка, ротатор, Алешин... Объяснили?

— Объяснили, — сказал я.

— Я, видишь-ли, говорю по официальному поручению. Никакого вылаза у тебя нет... Нам нужно получить в ЦК глаз... Наших коммунистов тут все знают. От нового человека будут сторониться... А ты ходишь тут за анти-общественника... Словом, для этого — самый подходящий человек... Это я по товарищески говорю... Видишь-ли, если говорить официально, то и против тебя — улик ой-ой...

Преде налил еще по стакану.

— Между нами говоря: собственно, полагалось бы арестовать и тебя. Я там, нашим ребятам, сказал: не трогайте. Ничем, кроме физкультуры и романа, Солоневич не интересуется, в политику не лезет...

— А откуда они взяли про мой роман?...

— Вот — чудак ты человек! Вот написал ты свою хреновину, ну, скажем, оставил в портфеле, а портфель, например, положил на стол... Я это — только для примера. Потом вызвали тебя, например, к Фигантеру, а за это время, например, товарищ Иванов обязан твой портфель обыскать... Понял?

Я понял. От этого понимания какие-то мурашки по спине поползли. Кто из сотоварищей моих по работе и по комнате может быть тем Ивановым, который, как только я вышел, обязан полезть в мой портфель и о его содержимом доложить кому следует?... Я стал перебирать в своей памяти: а не случилось ли мне оставить в этом портфеле то, чего оставить не следовало бы? Как будто нет: конспиративный стаж у меня был достаточный; но не случилось ли чего-нибудь проворонить?

— Так, что ты имей ввиду — все мы ходим под стеклышком... Ну, конечно, и я тоже. Думаешь — и у меня обысков не делают? Еще как! Тут — такая система... Нальем, что ли?

Я налил и мурашки поползли еще дальше. Тут — действительно система... Как бы только мне из этой системы вырваться. Обмануть ее, обставить, обойти... А система все-таки жуткая...

Преде мог пить приблизительно сколько угодно. И выпив приблизительно сколько угодно, мог слегка скандалить, но лишнего никогда ничего не говорил. Тех людей, которые, будучи в любом виде, могут говорить лишнее, ГПУ из своих "железных рядов" выбрасывает вон — преимущественно на тот свет. Оттого, в частности, эти ряды в их общей сумме — действительно железные ряды — что уж тут говорить. Так сказать — естественный отбор. Ввиду всего это-

го, у меня не было большой надежды перепить Преде так, чтобы он стал проговориваться... Однако, — выпили еще по стакану.

— Словом — ты вероятно, знаешь — и жена его арестована. В общем — сидит человек сорок... Ты тоже — в кандидатах... Положение у тебя безвылазное.

Три стакана водки, выпитые подряд и без закуски, какая-то нервная озлобленность на гнусную эту систему, которая роется не только в моем портфеле, но даже в портфеле товарища Преде, систему, которая никому не может доверять, ибо она абсолютно бездушна, — как-то прорвали мою выдержку, и я сделал глупость. Закурил папиросу, откинулся на спинку стула и медленно и размеренно сказал:

— Словом, идет, так сказать, вербовка в сексоты? Этот номер не пройдет.

— Не пройдет? — переспросил Преде.

— Категорически!...

Преде посмотрел на меня как-то странно. Потом налил себе еще стакан водки и, не приглашая меня, выпил его, поставил на стол и сказал вещь довольно неожиданную:

— Знаешь, скажу тебе по товарищески: держись. Не поддавайся... Парень ты, конечно, образованный, но ты уж меня извини, неумный ты парень. Бестолковый. Пропадешь ты там... Уж если завербуют, никуда ты не денешься... Вот, знаешь, я — сколько лет? Да уж лет двенадцать в ГПУ работаю. А что? Вот и теперь пропился, запутался, с бабами не повезло. Пришлось пару абортов финансировать — внеплановый расход. А денег — ни шпинта ... Вот тебе и работа в ГПУ.

Намек был достаточно ясен. Нужно было этот намек подхватить и, так сказать, "уточнить".

— Ну, для такого дела всегда можно по товарищам что-нибудь наскребать!

— А у тебя деньги есть ?... — В тоне Преде появилась, так сказать, "живая заинтересованность"...

— Рублей пятьсот наскребать можно.

Преде презрительно поморщился.

— Что — пятьсот? — Мне не меньше десяти тысяч нужно...

Десять тысяч? Я мог бы их достать, продав все, что у меня было. Но тогда — что останется для побега? Нет, десять тысяч — утопическая сумма. Я посочувствовал. Да, десять тысяч — это трудновато.

— Ну — как для кого. Для тебя, например, — плевое дело...

Утверждение Преде повергло меня в некоторое изумление. У меня? Десять тысяч? Плевое дело? Да откуда он это взял? И чем это все пахнет?

Преде тяжело вздохнул...

— У тебя, так сказать, — хозяйственное предприятие, например, клюшки... Разумэ?

Кое-что стало "резумэ". В числе прочего спортивного инвентаря, выписанного мной на уже известные читателям совторгслужащие доллары, было большое количество испанского камыша для хоккейных клюшек — количество, которое обеспечивало за ЦК, так сказать, всесоюзную монополию хоккейных клюшек. Камыш этот отдавался в переработку каким-то кустарным артелям. Я во все это дело не вмешивался вовсе. На должности заведующего моим складом спортивного инвентаря сидел многолетний чекист, тоже латыш, товарищ Пелькен — боксер, спортсмен, в последнее время горьчайший пьяница — чрезвычайно типичная личность для средних звеньев ГПУ. О нем я как-нибудь расскажу подробнее — стоит рассказать.

При всех моих нежных чувствах к ВЧК ОГПУ я вовсе не собираюсь изображать всякого чекиста садистом, дегенератом или просто сволочью. Даже в ГПУ есть очень разные люди.

Когда я начал организовывать свой склад спортивного инвентаря — в последствии он стал крупнейшей в России, после "Динамо", организацией этого рода, — то мне было совершенно ясно: нужно, чтобы заведующим был какой-нибудь чекист. Ибо, если я

буду заключать всякие договоры и совершать всякие закупки, то независимо от того, буду-ли я воровать или не буду, меня все равно рано или поздно подсидят и посадят. Если же во главе этого склада будет какой-нибудь чекист, то буду я за ним, как за каменной горой. Если меня потащат в ГПУ, так я скажу: "позвольте — да ведь там сидел ваш же человек, я-то тут при чем?"

Ввиду всего этого, я никак не хотел выдвигать на почтенный этот пост какого бы то ни было "своего человека", о чем и сообщил некоторым коммунистам из ЦК, в том числе и Преде. Преде сам соблазнился было перспективами "хозяйственной должности", но как раз в это время ему подвернулось место заведующего экспортом "лектехсырья" (лекарственно-технического сырья), и он предпочел уехать в Гамбург. О том, как товарищ Преде торговал в Гамбурге малиной, я уже рассказывал.

Гамбургское лектехсырье оторвало товарища Преде от перспективы хозяйственной деятельности по части спортивного инвентаря. Несколько повздыхав, он сообщил мне фамилии нескольких чекистов, которые охотно "перешли бы в другую область работы".

И вот, не в порядке оправдания чекистов, а в порядке просто на просто констатации факта: ко мне приходили указанные товарищем Преде кандидаты-чекисты, и двое из них стали передо мной на колени — не литературно, а буквально. Я со своим фантастическим спортивным складом оказался для них единственной возможностью легально вырваться из аппарата ГПУ. В числе прочих кандидатов пришел и товарищ Пелькен. Он на колени не становился. У меня с ним были несколько иные разговоры. Это был боксер и хоккеист, на работе в ГПУ дошедший до алкоголизма. Я взял его на работу в моем складе, и за все время этой работы товарищ Пелькен не украл ни одной копейки — это я знаю совершенно твердо. Каждую копейку он отстаивал, как цепной пес. Ибо за спиной его всегда стояла угроза: я могу сказать президиуму цент-

рального комитета, что товарищ Пелькен — хороший коммунист и прочее, но для этой работы не годится, и тогда товарища Пелькена немедленно опять втянул бы в себя аппарат ГПУ.

...Теория виселиц в России, виселиц, которые будут воздвигнуты после переворота, имеет два лица. Одно лицо — это необходимость какого-то морального удовлетворения миллионов и миллионов вдов и сирот, беспризорников и лагерников, колхозников и рабочих, Юр и Андрюш. Тут без виселиц никак нельзя будет обойтись. И есть другое лицо — вот такие товарищи Пелькены, затянутые аппаратом ГПУ, которые — если мы ухитримся даровать им жизнь — цепными собаками будут стоять на страже нашего добра и молить Бога за тех, кто, сковырнув аппарат ГПУ, дал им, винтикам этого аппарата, прощение и забвение... Таких винтиков очень много. Подавляющее большинство чекистов, которых я знал лично, — это погибающие люди. Вот, вроде Чекалина на ББК. ("Россия в концлагере"). Чекалина вешать я бы не стал.

Все это — чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложным было и мое положение в разговоре с товарищем Преде. Ясно — товарищ Преде напрашивается на взятку. Но откуда могу я эту взятку взять?

Произошел некоторый дипломатический разговор. Из этого разговора выяснилось, что заказ на переработку камыша в клюшки можно дать одной артели, но можно дать и другой. Разница в ценах выразилась бы, примерно, в сумме пятнадцати тысяч рублей. Не стоило подчеркивать, в чьи именно карманы пошла бы эта разница. Был выработан некоторый стратегический план: я доложу президиуму ЦК условия всех конкуррирующих организаций, товарищ Преде заявит, что все эти организации — дрянь и что только артемьевская артель делает клюшки на ять... Потом я буду отстаивать принцип экономии, а товарищ Преде — принцип качества продукции, потом он меня убедит, и я соглашусь с тем, что центральному комитету советских и прочих служащих лезть в грязь лицом не

следует, а нужно "показать класс" — ну, и так далее в этом роде. В результате всего этого товарищу Преде очистятся потребные ему десять тысяч. А может быть, и больше. Я же останусь совершенно не при чем: один чекист заведует складом, другой чекист поддерживает артель Артемьева, двенадцать коммунистов президиума ЦК утверждает предложение товарища Преде. Я-то тут при чем?

Словом — сговорились. Допили водку, и на прощанье товарищ Преде сказал мне нечто вроде комплимента: я-де не такой дурак, как можно было бы думать по моей профессии. И дал нечто вроде гарантии — к Садовскому вызывать меня больше не будут.

К Садовскому меня действительно больше не вызывали. Так сказать — откупился. Несколько утешительно было думать, что откупился я не за свой счет. Но вообще настроение было чрезвычайно отвратительное. Чрезвычайно отвратительно жить в стране, где все время приходится изворачиваться и откупаться. Конечно — жизнь есть борьба, но и борьба-то бывает разная... Советская обстановка жизни совершенно исключает возможность честной борьбы. Все время — какие-то воровские извороты. А не извернешься — пропал... Пропадать мне не очень хотелось, но и изворачиваться — тоже. Как-то не люблю ни того, ни другого...

***

Я сидел в своей салтыковской голубятне и размышлял о том, что все это особенно глупо устроилось. Так глупо, что просто деваться некуда. Все подпольные мои махинации уперлись в тупик. Для них все-таки нужны деньги. Денег же нет. Физкультурные мои махинации тоже упираются в тупик, и к данному моменту это выяснилось уже с достаточной степенью точности... Сейчас главное было: дать брату возможность прорваться из ссылки. Но до осени побег почти невозможен технически. А бежать нужно. Ибо

совсем неизвестно, в какой степени пройдет та взятка, которую я более или менее гарантировал товарищу Преде, в какой степени сумеет он поделиться этой взяткой с товарищем Садовским и в какой степени эта взятка, ежели товарищ Садовский получит ее, сможет предохранить меня от дальнейшей любознательности ГПУ. Вот же — даже и о моем романе узнали. Почему не могут они узнать о некоторых других моих мероприятиях? Это не были удачные мероприятия, хвастаться нечем. Но если бы о них узнало ГПУ — это было бы гибелью... Тут уж взяткой не откупиться.

Я переживал очередной провал, очередное похмелье, полный упадок веры в свои силы, в свои мозги и даже в свою честность. Все проваливается. Проваливается и моя физкультурная работа — в то время я уже чувствовал, что меня оттуда вышибут. Проваливается и моя политическая работа — по причинам, о которых в настоящее время я говорить не могу. Проваливаются и мои планы побега. Я, очевидно, совсем под стеклышком ГПУ... Если оно знает даже о моем романе, то не может же оно не знать о моих планах побега...

Планы побега были очень сложными планами. Одному бы бежать — плевое дело. Но если я буду бежать, то не для того, чтобы сытно пребывать где-нибудь в домике в Пасси. Я буду бежать для продолжения драки. Тогда тех моих близких, кто останется в России, просто на просто расстреляют. Жене удалось устроиться машинисткой в берлинском торгпредстве, с ней уехал и Юра, и все казалось совершенно ясным и простым: мы с Борисом навьючим на себя рюкзаки, возмем в руки по винтовке (я был инструктором спорта, в том числе и стрелкового) — и поминай как звали. Так вот: Бориса угораздило попасть в Соловки, потом он перебрался в ссылку, в Томск, жена и сын — в Берлине, а тут, в Москве, надо мною — недреманное око, которое, чорт его знает — что оно видит и чего не видит...

Это было ощущение, которое впоследствии с осо-

бенной резкостью повторилось в лагере: а вдруг всю мою сеть планов, мероприятий, подготовки и хитросплетений ГПУ видит более или менее насквозь... Вот увидели же и роман. Я в те времена весьма особым способом слал жене в Берлин статьи для иностранной прессы о положении в Советской России: этих статей не приняла ни одна газета, думаю, — напрасно. А вдруг ГПУ знает и об этих статьях? Вообще были мероприятия, в которые ГПУ я ни в каком случае не собирался посвящать. Но ведь и в писание моего романа я не посвящал решительно никого — а ГПУ узнало и без моего посвящения... Только впоследствии, на допросах у товарища Добротина и прочих, я твердо и окончательно установил границы познаний ГПУ. Это были не очень широкие границы. Но тогда я этого еще не знал. Вообще — отвратительно было до чрезвычайности.

Внизу, на лестнице раздались чьи-то шаги. Медлительной своей походкой вошел Тося — похудевший, какой-то осунувшийся, и вид у него был несколько странный.

— Живы? — спросил он.

Я ответил, что по всем внешним признакам я, конечно, еще жив.

— А я — только наполовину. — И Тося посмотрел на меня несколько подозрительно.

— Почему только наполовину?

— Сидели? — спросил Тося.

— То-есть, где это?

— В гепее? А где еще можно сидеть?

— Бог миловал.

— А я вот просидел. Две недели.

— За что?

Тося посмотрел на меня искоса, снял пальто, уселся и закурил.

— Так не сидели? В самом деле?

— В самом деле.

— Как это вам удалось?

Я обозлился и спросил — в чем дело и для чего это Тося янкеля крутит. Тося пожал плечами.

— Неужели вас по Алешинскому делу не таскали?

Я схематически объяснил, что на допрос меня вызывали — допросили и отпустили. Тося казался еще более удивленным.

— Я сидел две недели, и меня пять раз допрашивали. И об Алешине, и о вас. Если-бы не папаша — просидел-бы я еще, чорт его знает, сколько. Но папаша подвернулся. Кто-то ему сообщил о моем исчезновении, он на кого-то там нажал... Ну и выпустили. Насчет вас спрашивали очень досконально.

— О чем именно?

— А — обо всем. Я все и рассказал — сколько окуней мы с вами выудили и сколько литров выпили. Больше как-будто и рассказывать нечего было.

Тося иронически усмехнулся.

— Очень интересовались — каким именно способом у вас совмещается троцкизм с монархизмом. Очень допытывались. Я сказал, что, по моим сведениям, вы собираетесь возводить Троцкого на престол Романовых.

— Кто вас допрашивал? Садовский?

— Не знаю. Может быть, и Садовский — своей фамилии он не счел нужным мне сообщить. За Троцкого на престоле Романовых меня пересадили на три дня в подвал, сказали, что здесь следствие, а не оперетка. А главное, эти три дня давали по полфунта хлеба и больше ничего. У вас ничего нет, что-б пожрать? Я, собственно, прямо с Лубянки к вам завернул. После трех дней подвала наблюдается некоторое повышение аппетита.

Я сообщил Тосе, что в коридоре, под столом, имеется не совсем еще обгрызенная баранья кость. Тося пошарил в коридоре под столом, положил означенную кость на стол, обревизовал ее со всех сторон и установил наличие на этой кости некоторого количества сухожилий, достаточного для того, чтобы заморить червяка. Установив сей утешительный факт,

Тося подошел к вешалке, на которую он повесил свое пальто, и из кармана этого пальто извлек бутылку водки. "По дороге подхватил, в кредит, не было ни копейки; даже в поезде зайцем проехался. Хотите?"

Я изъявил свое согласие. Тося налил два стакана и мы коллективно принялись за кость. Сухожилий на ней оказалось недостаточное количество. Тося высказал свое сожаление по этому поводу, и мы вернулись к теме об Алешине.

Но тема об Алешине меня интересовала мало. Дело было слишком ясным и слишком безнадежным. Попался парень за расклеиванием антисоветской литературы — что тут можно поделать? У меня брат попался не на расклеивании прокламаций, а просто на старой работе по скаутизму — так и тут я ничего не смог поделать, а уж как старался...

Внизу в дверь кто-то постучал. Тося задал мне вопрос: "кого это черти несут?" и, не получив ответа, пошел вниз отворять дверь. Потом я услыхал его изумленный возглас:

— Так это ты, Маруська? Когда выпустили?

Марусиного ответа не было слышно.

— Замечательно! — что-то подтвердил Тося. — Ну, ползи наверх.

На фоне огромной долговязой фигуры Тоси появилась бледная тень того, что раньше было Марусей.

На Марусю совсем страшно было смотреть. Под ее упрямым, еще девичьим, лбом глаза ввалились куда-то совсем вглубь черепа, лицо приобрело мертвенно-восковую прозрачность. Она молча поздоровалась с Тосей и как-то остановилась по середине комнаты, как бы не зная, куда деться и зачем, собственно, она пришла. Я усадил ее в угол, в знаменитое свое кресло. Девочку прежде всего надо было накормить — у меня же ничего съестного не осталось ни крошки. Я пошел вниз, к хозяйке, сказал ей, что вот только что выпустили девочку из ГПУ — нет ли у вас чего-нибудь съедобного. Хозяйка сказала несколько слов, вроде того: "Ах, ты, Господи, вот изверги, девочку-то, на что-ж

она им, «мало им мужчин резать, вот и детей по подвалам таскают“ ... И так как она была женщиной хозяйственной (огородик, полдюжины кур и прочее), то, охая и проклиная, она набрала горшочек вареной картошки и пяток яиц. Мои попытки изобразить эти яйца и картошку, как некий "продовольственный заем“ — "завтра-де отдам“, — хозяйка отвергла с негодованием: "Да что вы, И. Л., совести у меня что ли нету... Может, так и мою Марусю кто-нибудь накормит“ ... У хозяйки была дочь лет шестнадцати, и ее звали тоже Марусей.

Подымаясь вверх по лестнице, я услыхал грустно-иронические замечания Тоси:

— Вот, значит, Маруська, и спланировала ты свою жизнь, а?

Оказывается, они были уже на ты — молодежь в России почти вся на ты. Маруся не отвечала ничего. Я занялся примусом.

— А ты все-таки посоветуй... Все равно — ничего не выйдет... И — с ребенком тебе куда?

Маруся ничего не ответила. Я мельком посмотрел: Тося стоял у печки, курил папиросу и смотрел в окно. Маруся, сидя в кресле и упершись локтями в колени, положила голову на руки и не видно было, то-ли она тихонько плачет, то-ли просто молчит. Так прошли несколько минут, необходимых для изготовления яичницы.

Маруся подняла свое лицо — слез на нем не было.

— Да зачем вы, дядя Ваня? Совсем я не хочу. Отвыкла... Не до того.

Я настоял на своем. Привел пример цыгана, который совсем было отучил своего коня от корма, а тот — возьми и подохни. Моя шутка не произвела ни на Тосю, ни на Марусю ровно никакого впечатления. Маруся стала лениво ковыряться в яичнице, вилка ее тыкалась как-то неуверенно, точно у слепой.

— Так вот, какие дела, дядя Ваня, — сказал Тося.

— А какие именно?

Тося вздохнул и выпустил клуб махорочного дыма.

— Дела трясинные. Наши коники увязли совсем. Маруся беременна, вы знаете?

— Гм, — сказал я. Что еще мне оставалось говорить.

— Это — раз, — продолжал Тося. — А два — так это вот что: Марусю выпустили с двумя условиями: пронюхать об остальных участниках Колькиной банды и уговорить Кольку не валять дурака — сказать все, что от него требуется. Маруське и свидание для этого дадут...

— Вы, вероятно, согласились? — спросил я Марусю безразличным тоном.

— Согласилась, — сказала она просто.

— Да, я вам еще о себе не договорил. Мне тоже поручили уговорить Маруську, чтобы она уговорила Кольку. Вот я и уговариваю, — добавил Тося чуть-чуть иронически.

— Зачем-же уговаривать, если она и без вас согласилась?

— Так я им и скажу, — передернула Маруся худенькими своими плечами, — тоже нашли дуру. Мне ребят повидать надо было, предупредить, вот я и согласилась. А чтобы всамделишно... — подождут. Не на меньшевиков напали.

— А на комсомольцев, — не без некоторой язвительности продолжил я.

Это было неумно сделано. Маруся как-то съежилась, точно под занесенной дубиной, и сказала тихо-тихо:

— Дядя Ваня, лежачего не бьют...

— Да, — согласился Тося, — это с вашей стороны было ляпнуто...

— Как мне послышалось, и вы что-то насчет планирования жизни иронизировали?

— Оставим уж это, дядя Ваня, — так же тихо сказала Маруся... — Я посоветоваться пришла... Может, вы что-нибудь придумаете. — Маруся подчеркну-

ла слово "вы" и посмотрела на меня с выражением слабой надежды — последней, но все же очень слабой.

Я вздохнул. Что я мог придумать? Преде? Преде мог выручить меня, потому что я был ответственным работником ЦК, потому что ко всей этой истории я действительно никакого отношения не имел, наконец, последнее и самое существенное, что я мог дать ему возможность получить взятку. Но комсомольская эта парочка ни для какого учреждения никакой ценности не представляет. Алешина поймали на "месте преступления", и никакой возможности новых взяток я ни откуда не видал. Картина была проста, ясна и в достаточной степени безнадежна.

Я тогда еще не знал концентрационных лагерей и не мог дать никаких советов о том, как надлежит там действовать. А в том, что Коле Алешину — и то в лучшем случае — концентрационного лагеря не избежать, было достаточно очевидно. Но были места, о которых я кое-что знал: это "ссылка в отдаленнейшие места Сибири". Там — совсем страшное дело. Там сразу же гибнет подавляющее большинство ссыльных — не знаю уж, сколько именно процентов. Но те, кто выдерживает, у кого есть силы приноровиться к самоедовско-майнридовской жизни, становятся этакими заполярными Джеками Лондонами, каких, вероятно, и в Клондайке не водилось. Мне казалось, что у Коли и Маруси такие силы есть. Да, но беременность? Ребенок?

Мои советы свелись к следующей схеме. Вытащить Колю — безнадежное дело. Если бы он и выдал своих товарищей...

— Не стоит и говорить, — прервала меня Маруся. — Исключается целиком и полностью...

— Да не перебивайте... Если бы он и выдал, — это не помогло бы. Расстрелять его не расстреляют — ну, там крестьянский сын, пролетарское происхождение и все такое... А сошлют, вероятно, ко всем чертям. Вот родите ребенка — и поедете к Коле.

— Не хочу и родить — все так же тихо сказала Маруся, — ни к чему... Чтобы и его по чекам таскали... Да и какой ребенок будет, когда вот на Магнитке была, в чека сидела, Коля сидит...

— Ох-хо-хо, — вздохнул Тося, — слушала бы ты, Маруська, умных людей, вот вроде меня с дядей Ваней, так ты бы не планировала и ребенка... А Колька рыбу умеет удить? — ни с того ни с сего спросил Тося.

Маруся подняла на него удивленные глаза.

— Рыбу? Ну, конечно... Вологодский ведь он...

— Ну, тогда не пропадет, — обрадовался Тося, как бы найдя, наконец, нужное решение, и как-будто у него от этого гора с плеч свалилась. — Не пропадет. Если я под Москвой ухитрился удочкой жить, то он на какой-нибудь Оби будет как сыр в масле кататься. Будет ловить каких-нибудь там осетров, а ты ему, Маруська, осетрину станешь жарить... Ничего, не дрейфь, Маруська. Мы тут тебе что-нибудь подмолотим. Купишь валенки, кожух. И ребенок твой по крайней мере там сыт будет...

Маруся посмотрела куда-то в сторону, в окно...

— Какой тут ребенок! Аборт бы сделать, да поздно...

— А какой месяц? — полюбопытствовал Тося.

Маруся не ответила.

— Поздно, — сказала она еще раз.

— Ну, родишь и тогда поедешь.

— Не хочу я никакого ребенка, — упрямо повторила Маруся.

— Ну, хочешь — не хочешь, а раз поздно, так поздно.

— В петлю никогда не поздно, — тихо сказала Маруся.

— Бросьте вы, Маруся, дуру валять. Вы — одна? Коля ваш — один? Сотни тысяч сидят по лагерям и ссылкам (я тогда еще не знал, что сидят не сотни тысяч, а миллионы), и все как-то выкручиваются.

Я уже тогда знал, что выкручиваются далеко не все, но у Алешина были шансы выкрутиться, и Мару-

сю надо было подбодрить. Я рассказал несколько случаев о женщинах, которые бились от отчаяния головой о стенку, пытались травиться, потом перебирались в ссылку к мужьям и еще как жили. И ребят позаводили.

Не знаю, насколько подбодрили Марусю мои рассказы и мои советы. Она, как и прежде, сидела тихо-тихо, почти не шевелясь, и только изредка подымала на меня свои глубоко запавшие глаза. Исчерпав запас своих доводов, я замолчал. Тося с новым вздохом резюмировал:

— Вот какая история.

— Совсем обыкновенная история, — поправил я.

— Так что же? Вот, сидеть так и ждать?

Маруся снова посмотрела на меня, потом на Тосю, и в глазах ее был упрек нам, двум мужчинам, которые не могут помочь ей, беременной девушке.*)

И, пожалуй, еще больший упрек нам, всем мужчинам вообще: вот до чего довели. Оба эти упрека были до некоторой степени основательны. Но что я мог сделать? Так мы сидели и молчали. В голове путались какие-то туманные планы. Не туманными они быть не могли: попробуйте выцарапать человека из когтей ГПУ, да еще человека, явно учавствовавшего в антисоветских действиях. Среди этих туманных планов был такой: обратиться по этому делу к Преде — пусть выцарапает. Преде, конечно, не согласится. Я могу припугнуть его или, как говорят в СССР, "взять на баса" — пригрозить раскрытием его хоккейской взятки. Что получится? Получится вот что: Преде позвонит Садовскому, и я даже до ЦК дойти не смогу. Меня сцапают, и тогда уже поминай, как звали. Тогда уже не выпустят. Нет, и это безнадежный путь. Не менее безнадежный, чем вооруженный налет на Лу-

---

*) Слово "девушка" я употребил в его советском значении. Девушка от женщины отличается не по признакам девственности, а по признаку возраста, как юноша от мужчины.

бянку с целью освобождения Коли Алешина. Но поговорить с Преде все-таки было возможно. Так, в дружеских тонах. Сказать ему, что вот, дескать, дубина этот Алешин — вот уж дубина! А девочка у него — ничего... на каком-то предпоследнем месяце беременности... Жаль ребят... Какие они там контр-революционеры... Просто играет Алешин в Ястребиного Когтя... ну и так далее... Намекнуть слегка на взятку... Может быть, удастся Алешина хоть от расстрела отстоять...

Я поднял глаза и увидал, что Маруся смотрит на меня в упор — вероятно, смотрела все время, пока я строил туманные планы... В ее глазах было что-то от, так сказать, "вечно женственного" — вот она, девушка, обращается за помощью к нам, двум мужчинам; видно было, что за этой помощью больше ей обратиться было не к кому. Во взгляде была и мольба, и укор, и надежда, и отчаяние.

Я почувствовал себя очень неловко. Видимо, так же чувствовал себя и Тося. Он как-то крякнул.

— Э, поднажму на своего папашу. Была не была. Если на него сильно поднажать... — в голосе Тоси особой уверенности не было... У меня же уверенности в пользе Тосиного папаши не было ровно никакой. Во-первых, потому, что всякая протекция в ГПУ возможна только в том случае, если бы, например, в данном случае, Тосин папаша был бы личным приятелем Садовского — что было мало вероятно, во-вторых, потому, что ГПУ очень ревниво относится к каким бы то ни было попыткам вмешательства в его ведомственную компетенцию и, наконец, в третьих, коммунисты очень не любят рисковать своей коммунистической репутацией. С какой стати Тосин папаша будет рисковать, вмешиваясь в судьбу совершенно неизвестного ему парня, да еще столь явного "преступника", как Алешин? Нет, это дело почти вовсе безнадежное. Тося, как бы в ответ на мои мысли, продолжал:

— Выйдет — не выйдет, а я попробую.

Маруся посмотрела на него, потом снова перевела глаза на меня. Эгоистичен человек... Я крепко выругался про себя: вот не было печали, так подвернулись эти комсомольцы... У меня самого забот полон рот. Отец голодает — нужно поддержать его, брат в ссылке, на носу — побег...

Я перевел разговор на другие рельсы.

— Скажите, Маруся, а как ваше нынешнее положение?

— Никакого положения. Утром сегодня выпустили. Пришла в общежитие, оттуда выгнали, со службы тоже выгнали — вот и все.

— Значит — ни двора, ни кола, — резюмировал Тося.

Маруся чуть-чуть пожала плечами.

— Вещи отдали, из общежития, то-есть; я узелок внизу оставила...

— Ну, это — мелочи жизни, — бодро заявил Тося. — Ты, значит, будешь пока у меня жить, а я к дяде Ване переберусь... Это — пустяки.

Моего согласия на этот переезд Тося, кстати, и не спросил вовсе. Не заикнулась о нем и Маруся. Это согласие в данной обстановке являлось вещью само собою разумеющейся. Само собою разумеющейся вещи я и оспаривать не стал.

— С питанием наладим. Сейчас окунь хорошо должен итти. Денег как-нибудь поднаскребем. А ты наскреби по твоим ребятам.

Маруся снова тихонько пожала плечами.

— Все сидят.

У меня создался план — урвать у Преде хотя бы тысченку из его коммерческих прибылей. Для Маруси тысченка, даже и советская, — невиданная в жизни сумма. Но и тысченка устраивала плохо. Алешин еще, вероятно, месяца два просидит, потом его куда-то вышлют, месяц он будет ехать каким-нибудь эшалоном, потом, пока он с Марусей спишется... Все это займет около полугода... У Маруси к этому времени будет ребенок... Правда, она получит кое-какое посо-

бие по беременности и родам... Так как я по одному из прежних видов своей деятельности был хорошо знаком с законами и практикой социального страхования, то я дал Марусе несколько весьма ценных советов, которые она потом и выполнила.

Права беременной женщины — правда, очень не густые — если не во всей России, то, во всяком случае, в крупных центрах охраняются весьма крепко. Беременной женщины уволить нельзя или, по крайней мере, очень трудно. За восемь недель до и на восемь недель после родов женщина освобождается от работы и получает все это время свою полную ставку... Но, конечно, закон останавливается перед дверьми ГПУ... Однако, при достаточном знании тонкостей дела — тут много можно было сделать. Я весьма подробно рассказал Марусе: какие бумажки надо достать, куда пойти, как говорить и чем угрожать... Маруся, работавшая в качестве машинистки, была членом союза советских и торговых служащих — следовательно, в конечном счете, она могла со своей жалобой дойти и до ЦК — ну, а в ЦК были уже свои люди.

Когда я закончил свои наставления, Тося одобрительно крякнул.

— Вот, это дело. Совсем марксистский подход. Ты, Маруся, так и делай.

— Вот спасибо, дядя Ваня. Завтра же пойду. Сейчас бы прилечь, совсем голова кружится.

Тося посмотрел в окно. На дворе хлестал дождь, и тьма была кромешная.

— А если бы нам у вас устроиться, обоим, а?

У меня устроиться можно было не только троим, а и пятерым.

— Ну вот, мы сейчас все это и устроим.

— Давайте уж, дядя Ваня, я устрою, — нерешительно предложила Маруся.

— Сиди и не рипайся,— внушительно сказал Тося.

Маруся продолжала неподвижно сидеть в кресле, смотря куда-то внутрь себя — может быть, на новую жизнь, которая там, внутри, росла... Когда нехитрые

наши постели были готовы, Маруся устало поднялась...

Я сказал: "Спокойной ночи, Маруся, спите и не думайте — утро вечера мудренее". Маруся пожала было мою руку, потом выдернула свою и каким-то робким и вместе с тем материнским жестом перекрестила меня.

— Спаси вас, Господи, дядя Ваня, спаси вас Господи.

Отвернулась к постели и видно было, что ее плечи вздрагивают от с трудом сдерживаемых рыданий. Я стоял в полном изумлении: вот тебе и комсомолка!... Вот тебе и "интеллигентный человек — а иконы висят"!... На одно мгновение у меня мелькнула мысль напомнить ей об этой фразе. Но я не напомнил!... И если Господь нас от в с е г о э т о г о спас, то, может быть, не совсем уж последнюю роль играла и комсомольская Марусина молитва.

***

Марусин промфинплан получить пособие по беременности мы выполнили целиком. В его выполнении принимал участие еще целый ряд людей, о которых здесь говорить не стоит. Словом, в результате более или менее длительных демаршей Маруся оказалась обладательницей прежней заработной платы, но уже без обязанности ходить на службу, и некоторой суммы денег, уплаченной ей за незаконное увольнение. Такой суммы Маруся в жизни не видывала, рублей что-то около трехсот-четырехсот.

Из общежития Марусю, однако, выперли окончательно. В качестве тяжелого орудия туда был направлен Тося доказывать какому-то комсомолистому заведующему общежитием, что нельзя же выкидывать на улицу беременную девушку. О своей неудаче Тося рассказывал глухо и преимущественно в терминах, не подлежащих оглашению в печати.

Ввиду всего этого, Маруся окончательно перебралась на жительство к Тосе, а Тося перекочевал ко мне со всеми своими удочками, пешнями, вершами, и прочими приспособлениями рыбачьего промысла. По весьма многим и достаточно веским причинам мне это было неудобно до чрезвычайности. Почему бы им, т. е. Тосе и Марусе, не жить вместе? Такую теорию както выдвигала и Маруся:

— Да что-ж я тебя, Тоська, выживать буду? Да и дяде Ване неудобно. Я уж притулюсь где-нибудь!

Притулиться, впрочем, было негде. Комнатушка была, по выражению Тоси, в тараканью жилплощадь. Тося остался тверд и впоследствии мотивировал свое поведение так:

— Если бы не беременность, не о чем было бы и говорить. А так: она будет стесняться, мало ли там какие дела по этой части, да потом, ведь вы знаете, встаешь до свету, возишься с удочками. Ей сейчас нужен покой...

В воздаяние за причиняемые неудобства Тося компенсировал меня окунями, каковыми окунями он снабжал и Марусю, а Маруся их жарила и носила для передачи на Лубянку Коле. Впрочем, в этих передачах учавствовало значительное количество весьма разнообразной публики.

Вопрос об обещанном свидании с Колей все както откладывался и откладывался. Маруся все бегала: то в прокуратуру верховного суда, то выстаивала в очередях в приемной ОГПУ, где было и такое окошечко:

"Прием жалоб и заявлений".

Эти жалобы и заявления с таким же успехом можно было кинуть в любую уборную и с такими же шансами получить оттуда ответ... Тося тоже куда-то мрачно ходил, нажимал на пресловутого своего папашу; — папаша кажется, что-то обещал — словом, потянулась совершенно обычная советская волынка.

***

Мне пришлось уехать в командировку, довольно длительную, — месяца на три. И в мелькании полуразрушенных старых городов и полупостроенных новых, голода и стадионов, тифа и дворцов культуры — Алешинская история как-то совсем выветрилась из головы . . .

И месяца через три, подъезжая к Москве, я не без острого неудовольствия вспомнил: ах, да: Маруся, Коля, Тося . . . Неужели эта каша до сих пор еще не расхлебана? У меня и своей каши вполне достаточно. Да и пребывание Тоси в моей мансарде сейчас, после моей поездки, меня никак не устраивало.

Дома я никого не застал, кроме Тосиных удочек. Они были длинны и многочисленны. Зачем человеку столько их сразу? Из их наличия можно было сделать логический вывод о наличии и Тоси на моей жилплощади. Каша, значит, еще не расхлебана.

Через час появился Тося.

— А, приехали? — сказал он заинтересованным тоном и как-будто не без некоторого облегчения. Облегчение мне понравилось.

— Приехал.

Тося не заметил моего тона.

— А мальчуган получился замечательный.

— Какой мальчуган?

— Какой? Марусин, конечно. Хотите пойти посмотреть?

Я не хотел. Я только что протрясся около четырех тысяч верст, то в теплушках, то на грузовиках, то на подводах, один раз в международном вагоне, но зато один раз на крыше товарного. Только что еле живой, грязный и вшивый, добрался к себе домой — самое время итти какого-то мальчугана смотреть.

Тося несколько разочарованно пожал плечами.

— Ну, не хотите и не надо.

И потом прибавил утешительным тоном:

— Вечером Маруся, должно быть, и сама придет.

Утешение было слабое. Мне бы помыться, побриться, поесть и завалиться спать суток этак на двое. Охота, как говорится, пуще неволи. Я ездил больше по охоте, чем по неволе. Иначе бы не выдержать. Приедешь в какой-нибудь Краснококшайск, а там ни за какие деньги — ни фунта хлеба и ни крошки табаку. Приедешь в какой-нибудь Харьков, а там ни по каким мандатам ни в какую гостиницу не пустят — ночуй в спортивном клубе. Приедешь в какую-нибудь Одессу, а оттуда для получения билета нужно быть по меньшей мере Эдиссоном или ждать очередной поездки футбольной команды и пристроиться в качестве судьи. Ну, и так далее...

В силу этого обстоятельства, по дороге от Брянского вокзала на Курский я заглянул в коммерческий магазин (их тогда называли магазинами заочного питания — проходи и облизывайся). С дороги я обыкновенно приезжал с некоторым запасом денег, добытым примерно теми способами, какими дабывал свои запасы небезызвестный Остап Бендер (Остап Бендер — не сатира, а фотография). В оном магазине я купил килограмм буженины, пару соленых огурцов и литр коньяку. Приказчик, заворачивая мне все это, посмотрел на меня сожалительно: и все равно сядешь же ты, растратчик ты несчастный.

Я не был растратчиком. В числе бендеровских четырехсот способов легального изымания денег из советской казны у меня был и такой:

Я приезжаю в совхоз и снимаю всех, кто попадется под руку. Фотографии с соответствующими текстами и очерками идут:

1. В журнал "Медицинский Работник" — как работает совхозная амбулатория даже и тогда, когда ее и в природе не существует.

2. В журнал "Ударник Социалистического животноводства" — о том, как доярка Иванова Седьмая перевыполняет промфинплан.

3. В журнал "Работник Просвещения" — о том, как ударник Иванов Седьмой ликвидирует малогра-

мотность (о неграмотности писать было нельзя — она уже ликвидирована).

4. В газету "Социалистическое Земледелие" — о дирекции совхоза вообще.

5. В "Красный Транспортник" — о том, как совхоз перевыполняет планы дорожного строительства.

6. В журнал Автодора — приблизительно о том же.

В наиболее благоприятных случаях удавалось снимать урожай с двенадцати журналов, перечислять которые было бы долго и скучно. И, помимо всего этого, всякая дирекция совхоза — а) накормит и б) даст аванс под те фотографии, которые я должен буду прислать ей из Москвы (всегда присылал).

Впрочем, иногда со всеми этими ударниками и перевыполнениями получалась совсем прискорбная чепуха. Так: дали мне командировку по заволжским совхозам с присовокуплением свирепой директивы — тогда была именно такая директива: "бить по расхлябанности и разгильдяйству". Я поехал. Пока я ездил, выискивая лодырей и разгильдяев — это были нетрудные поиски, — пока я приехал в Москву, директива уже переменилась. ЦК партии предписал: на страницах всей советской прессы показать "примеры работы", описать лучших ударников и энтузиастов. Положение было пиковое: откуда я этих ударников могу взять?

Возникли некоторые переговоры с редакцией "Социалистического Земледелия". Я сказал, что ударники ударниками, но ведь ездил-то я по вашей-же командировке и по вашим-же желаниям. Редакция нашла поистине соломоново решение: все мои разгильдяи, лодыри и безхозяйственники были помещены в качестве ударников и энтузиастов: кто его там разберет. Редакция несколько переделала подписи под фотографиями — я несколько переделал текст своих очерков. Я не знаю, что именно испытывали эти разгильдяи и лодыри, увидав в газете свои фотографии и

свои жизнеописания, но полагаю, что они были удивлены. Приятно удивлены, конечно.

Когда я сейчас читаю в советской печати развеселые жизнеописания зажиточных колхозников, я неизменно вспоминаю своих чудесно преображенных разгильдяев.

Все это — в объяснение тому факту, что я имел возможность купить килограмм буженины. Способ добывания этого килограмма, как видите, особой эстетичностью не отличается. Но я все-таки не хочу, чтобы меня считали растратчиком.

Итак, после трех месяцев вот этаких хождений по совхозным, заводским, профсоюзным, железнодорожным и прочим мытарствам и мукам, я, наконец, истребил целый самовар на мытье (в бане пришлось-бы торчать четыре-пять часов в очереди), отскреб свою дорожную грязь, выкинул за окно на крышу свое вшивое белье и совсем было собрался угнездиться за буженину и коньяк — так что мне было не до Маруси, ее мальчугана и ее проблем. Я сказал что-то мало членораздельное в этом роде и предложил Тосе приспособиться к буженине и коньяку. Тося выразил свое принципиальное согласие и, пока я натягивал на себя чистое белье, пошел в другую комнату к своим неизменным удочкам. На лестнице послышались быстрые Марусины шаги, и она вошла в комнату, не обращая внимания на мое относительное дезабилье и держа в руках какой-то сверток. Маруся очень энергически пожала мне руку: "Вот хорошо, что вы приехали, дядя Ваня!" —и положила сверток на лежанку. В свертке, конечно, был знаменитый мальчуган, личико его было прикрыто какой-то тряпочкой. Сейчас же пришел и Тося, снял тряпочку и пальцем, вымазанным в воск и смолу, ткнул мальчугана в носик.

— Ну, как живешь, бузя?

Бузя ничего не ответил.

— Ну, куда ты с грязными пальцами лезешь, — возмущенно сказала Маруся. — По заграницам обучался, а этого не знаешь.

— А ты, Маруся, не кирпичись. Никакой инфекции; я просто перемет смолил.

Однако, Тося лапу свою убрал и осмотрел мальчугана внимательно и испытующе. Осмотрев, Тося кивнул головой с удовлетворением:

— Ничего, совсем подходящий. С каждым днем круглеет.

— Правда? — Марусины щеки порозовели.

Я тоже счел своим долгом ткнуть мальчугана и в щечки, и в носик: — руки у меня чистые, только что мылся — и высказал несколько весьма одобрительных замечаний о Марусином произведении. Маруся расцвела окончательно. Она развернула сверток, и из обмотков чисто выстиранного тряпья показались сморщенные, еще такие неумелые детские ручонки.

— А Коли вот и нет, — сказала Маруся и нагнулась над ребенком.

Тося положил ей руку на спину.

— Ничего, Марусенька, — в тоне Тоси были необычные нотки. — Ничего, и Коля будет! Вот — сегодня я снова с папашей своим говорил.

— Ну, и что? — Маруся резко обернулась к Тосе, и сквозь слезы в ее глазах снова заблестела надежда.

— Обязательно обещал нажать. Завтра же пойдет к кому надо. — Тося говорил уверенно, но в этой уверенности мне показалось что-то деланное.

— Папаша говорил, что если бы Коля подписал показания . . .

Маруся посмотрела на Тосю как-то прямо и спокойно, и в ее ситцевых глазенках было что-то от протопопа Аввакума.

— Ты ведь понимаешь?

— Да, ну, конечно. — Тося снова пожал плечами. —Эх, дернула меня нелегкая вернуться сюда из Англии.

— А было у вас свидание с Колей? — догадался спросить я Марусю.

— Ну, было. Мы все больше глазами разговаривали, чекист все время сидел . . . Да что и говорить? . . .

Маруся окончательно развернула своего мальчугана, уселась в угол, в кресло, прикрылась каким-то платочком и сказала: "Ну, лопай, ты, медвединька!" Мальчуган, чмокая, приспособился к Марусиной груди и, вероятно, переживал минуты, которые больше в жизни ему не удастся пережить. Маруся оторвала свой взгляд от ребенка и посмотрела на меня:

— Ведь вы, дядя Ваня, понимаете: для того, чтобы **он** мог жить — **их** надо убрать. Разве-ж можно такие показания подписывать?

Да, оно конечно, — для того, что бы дети наши могли жить, кое-кого убрать совершенно необходимо. Тут мне с Марусей спорить было не о чем. Маруся слегка прижала своего младенца, как бы защищая его от какой-то еще неведомой опасности. Тося пожал плечами.

— Мальчишке нужно, чтобы у него отец был... И не в тюрьме.

— Так, значит, чтобы Коля подписал эти показания и еще с сотню ребят посадил? Там — тоже отцы есть.

— Вот, задело вас, — сказал Тося. — Ерунда все это — с вашими прокламациями. Ты, Маруся, пойми: против вас целый государственный аппарат, что вы с ним этими прокламациями сделаете? Только себя губите — и больше ничего.

Маруся посмотрела на Тосю как-то исподлобья.

— Не хотела я тебе говорить, Тося, а все-таки: шкурник ты.

— Почему шкурник?

— Да вот так: шкурник. Деньги на тебя тратили, чтобы ты заграницей учился... Учился, а вот работать не хочешь. Окуней ловишь, а на завод не идешь.

Тося резко передернул плечами.

— Ты, Маруська, кажется, и сама на Магнитке была — знаешь, что это такое.

— Уж я знаю. И Коля знает — потому и сидит... Так почему ты не хочешь ни работать, ни драться. А?

Почему? Ни в чем не хочешь участвовать – вот потому и шкурник.

Ну, и я тебе, Маруся, прямо скажу: дураки вы оба с вашим Колей и со всеми вашими ребятами. Неужели вы думаете вашими прокламациями своротить такую машину, как советская власть. Она вас раздавит и даже не заметит. Губите свои собственные жизни и больше ничего. А машина как шла, так и будет итти.

Маруся посмотрела на Тосю в упор и не ответила ничего. Я вмешался.

— Словом, вы, Тося, проповедуете теорию и практику, так сказать, гражданского отшельничества. Сидеть и не рипаться. Не работать, но и не драться.

Тося повернулся ко мне.

— Не я, дядя Ваня, делал дурацкую эту революцию – и не мне расхлебывать ее.

— Во-первых, вы ее все равно расхлебываете. А во-вторых, кому же расхлебывать. Вашему папаше?

- Да, папаше, вероятно, придется...

Но вы, насколько мне помнится, в случае войны собирались этого папашу поддерживать в рядах красной армии?

- -Вот — еще нехватало, — сказала Маруся...

Тося посмотрел раньше на Марусю, потом на меня, потом достал из кармана кисет с табаком: хотите свернуть? Я свернул себе папироску.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, дядя Ваня — примерно тоже, что говорит Маруся, — только, так сказать, в более парламентарных формах...

Маруся переспросила, что значат "парламентарные формы". Я объяснил.

— Так, вот, — продолжал Тося, очень медленно и размерно. — Конечно, Коля морально прав — я ведь этого и не отрицаю. Но я прав интеллектуально – с этим вы тоже должны согласиться.

— Как это понять?

— Сейчас ни для чего еще время не назрело: ни для борьбы, ни для прокламаций. Вся эта машина —

она сама собою развалится. Буду ли я ей помогать или не буду, ее от этого не прибудет и не убудет. А в красную армию я пойду.

— И советскую власть защищать будешь? — Маруся нагнулась вперед и уставилась на Тосю в упор.

— Кого мы там будем защищать, еще не вполне ясно, — уклончиво сказал Тося.

— Ваших папаш? — иронически напомнил я.

— Ну да, в частности, и папаш. Но собственно не в них дело. Дело в том, что у нас есть две силы, только две: партия и армия.

— А в армии ты тоже за партию драться будешь? А? За партию? За Сталина драться будешь? За ГПУ драться будешь? За то, чтобы люди с голоду дохли и по тюрьмам сидели? За что ты будешь драться?

Маруся совсем перегнулась вперед. Ребенок на ее коленях запищал. Маруся нервно поправила своего младенца и, не сводя упорного взгляда с Тосиного лица, переспросила с еще большей настойчивостью:

— Так за кого ты будешь драться?

Тося ответил неопределенно:

Да вот, может-быть, за твоего мальченку...

— Вы, Тося, не отвиливайте. — Маруся поставила вопрос совершенно прямо. — При чем тут мальченка?

— Мальченка — это будущее. Будущее можно обеспечить только силой. У нас есть две силы: партия и армия. Ты, Маруся, не горячись. Ты знаешь — я не из энтузиастов. Помнишь, давно уже мы оба тебе говорили, — дядя Ваня и я, — что из вашего комсомольского энтузиазма ничего не выйдет. Не вышло. Только подорвали свои силы. И из ваших прокламаций ничего не выйдет.

Тося посмотрел на Марусю с какой-то снисходительностью:

— Силушку копить, — сказал он. — И в подходящий момент быть там, где эта сила накопится. А если я сгнию на стройке или в тюрьме — кому от этого польза?

— Ну, вот и есть шкурник. А кому эта твоя сила будет нужна?

— Пригодится, — сказал Тося неопределенно. — Вот, может, и тебе пригодится.

— Давайте, Тося, не играть в прятки. Вашу позицию я определил-бы так: выждать время и накапливать силы.

— Именно, — кивнул Тося.

— Но вопрос в том, чего именно вы будете выжидать и для чего именно вы будете накапливать силы?

— Вот об этом-то самом я и говорю, — обрадовалась Маруся, — вот ты и скажи прямо: за большевиков или против большевиков?

— Сейчас еще не знаю. Я, Маруська, не такой плановик, как вот вы, с Колькой. Вот вы и жизнь планировали, и Магнитку планировали, и прокламации планировали... Что вышло? А я ничего не планирую. Придет время — посмотрим.

— Нет, ты скажи прямо: за большевиков или против большевиков.

— Послушай, Маруська, если-бы я хотел работать за большевиков, то я давно сидел бы в партии. Значит — не хочу.

— А воевать за них будешь?

— Ну, и умеешь же ты приставать! За каких большевиков? За тех, которые сегодня? За них никто воевать не будет.

— Послушайте, Тося, ведь сами вы мне говорили, что пятьдесят миллионов людей пойдут воевать — вот за ваших папаш и за существующую систему.

— Простите — о папашах я действительно говорил. Но я ничего не говорил о системе. Вы думаете, за данную систему и мой папаша будет воевать? И он не будет.

***

Как-то совсем поздним вечером я пришел к себе домой и дома застал компанию, несколько необычную

даже и для моей голубятни. Там сидели: Тося, в качестве, так сказать, заместителя хозяина дома, большевицкий полпред в Ковно т. Карский, передовик "Известий" А. Я. Канторович и какой-то вовсе мне неизвестный англичанин, находившийся на весьма сильном взводе. Разговор шел по преимуществу по-русски, так как англичанин главную часть своего внимания отдавал виски. Две или три бутылки стояли на столе уже пустыми, еще две или три ожидали своей очереди. Англичанин не без некоторого труда поднялся с кресла и сказал: "very glad". Я ответил ему тем же, хотя особого удовольствия и не испытывал. Карский извинился за вторжение, но так как это было не в первый раз, то и извиняться было нечего. Визиты таких лиц, как Карский, в значительной степени облегчали некоторые мои мероприятия, и эти визиты, особенного удовольствия не доставляя, были все же весьма полезны... Канторович о чем-то изредка переговаривался с англичанином, Карский рассказывал Тосе советскую систему спаиванья иностранных журналистов. Система эта, как известно, не очень плохо действует и до сих пор. Было рассказано и несколько забавных случаев из советской дипломатической практики. Но в общем разговор шел довольно вяло, англичанин хмелел все больше и больше, и я уж начинал беспокоиться о том, что нам дальше с ним делать.

В дверь внизу кто-то постучал. Я посмотрел на часы — было около двух часов ночи: кто бы это мог быть? Вероятно, кто-то, приехавший с последним поездом из Москвы. Но кто?

Тося пошел отворять. Снизу донесся его дружественный и, под влиянием виски, чрезвычайно радушный возглас:

— Маруська, это ты? Замечательно. Ну, катись наверх, мы тебя с интересной публикой познакомим.

Маруся, повидимому, ничего не ответила, по крайней мере ее ответа я не слыхал. Когда она вошла в комнату, меня поразил ее странный, какой-то блуждающий взгляд. Тося поторопился познакомить ее со

всеми присутствующими, не забыв для шутки и меня. Блуждающий взгляд Маруси я объяснил себе тем, что людей типа англичанина и Карского она видела в первый раз в жизни: оба они были в смокингах. Англичанин, усилием воли преодолевая выпитое виски, поднялся, протянул руку и сказал еще раз свое "very glad". Канторович посмотрел на Марусю с подозрительным беспокойством и перевел на меня вопросительный взгляд.

Поздоровавшись со всеми, Маруся как-то конфузливо осталась стоять посередине комнатушки, как бы не зная куда девать свои руки и куда девать самое себя. Она стояла прямо, чуть ли не на вытяжку, и лицо ее подергивалось нервным тиком. Я понял, что с нею случилось что-то совсем серьезное. Почувствовали это и все. Разговор сразу замолк. Маруся обвела всех своим невидящим взглядом и обратилась ко мне:

— Дядя Ваня, дайте стакан водки.

Маруся никогда ничего не пила, и просьба ее носила очень тревожный характер. Я поднялся было, чтобы подойти к ней, но Карский предупредил меня, протянул Марусе небольшую стопку виски. Маруся взяла эту стопку, стопка выпала из ее пальцев. Рухнула на пол и она сама.

— Тося, Тося, Коле оба глаза выбили! Коле, художнику, оба глаза!

Маруся билась в истерике. Тося подхватил ее и уложил на лежанку. Англичанин протрезвевшим голосом спросил, в чем тут дело. Карский очень неуверенным тоном ответил, что просто истерика. Тося поднял голову, склоненную над Марусей, и злостно посмотрел на Карского.

— Хорошая истерика — мужу в ГПУ оба глаза выбили... — и тут же разъяснил все это англичанину.

— Ну, нужно итти, — сказал Карский.

Да, ему нужно было итти. Делать ему было совершенно нечего. Маруся билась в рыданиях на лежанке. Тося все-таки влил ей в рот неможко виски, все остальные, в том числе и я, находились в некоторой

растерянности. Я никогда не слыхал, чтобы в ГПУ били. Там, конечно, применяются пытки, но характера более утонченного. С точки зрения ГПУ битье — это просто пережиток варварства. Зачем человека бить? — проще кормить его селедкой и не давать воды... Но возможно, что и комбинация селедки и жажды Колю Алешина тоже пронять не могла.

Гости стали прощаться. Карский и Канторович чувствовали себя не совсем в своей тарелке. Вероятно, час или полтора тому назад они доказывали просвещенному англосаксу и о том, как-де Советский Союз борется против всяческого мракобесия, фашизма и прочего, как-де этот самый Союз возглавляет культурное движение всего просвещенного человечества, — и вот тебе на: выбитые в ОГПУ глаза художника.

С просвещенным же англичанином случилась вещь весьма странная: он протрезвел сразу. Как-будто ни капли и во рту не было. Он очень обстоятельно осведомился у меня — правильно ли он понял мистера Тосю. Я вкратце подтвердил, стараясь говорить яснее: мой английский был значительно хуже Тосиного. Англичанин посмотрел сочувственно, несколько церемонно потряс руку мне и Тосе, оглядел бьющееся в рыданиях тело Маруси и, уходя, почему-то старался пропустить Карского и Канторовича вперед: тоже китайские церемонии, подумал я.

Я замыкал шествие со свечей в руках. Впереди меня шел англичанин. Не оборачиваясь назад, он стал шарить рукой мою руку, что-то вложил в нее и крепко пожал, как бы призывая к пониманию и к молчанию. Я промолчал, хотя не понимал ничего.

Гости ушли. Я поднялся наверх и в своей руке обнаружил пачку английских банкнотов — фунтов что-то, кажется, 6-7. Было ясно, что это для Маруси — неслыханный в Москве капитал. Что было делать? Отказаться — я мог бы за себя, но не имел права за Марусю, да и отказываться было уже поздно: англичанин, вероятно, имел свои соображения по поводу

того, что такого рода помощь надо оказывать втайне... Я засунул деньги в карман.

Тося сидел рядом с Марусей и все уговаривал ее. Я присоединился к этим уговорам: тут что-то не так. А откуда, собственно, получила Маруся эту информацию? Оказывается, с Лубянки была передана на волю записка — "в ГПУ у нас тоже свои ребята есть", — пояснила Маруся. Записка была немедленно уничтожена — по всем, так сказать, правилам конспирации, и точного содержания ее от Маруси сейчас добиться не было никакой возможности. Как потом выяснилось, записка была средактирована приблизительно так, что, от всех допросов Коля остался без глаз. Были ли они выбиты или не были — оставалось под вопросом. У меня мелькнула даже и такая мысль — не есть ли эта записка просто на просто провокация со стороны ГПУ, предназначенная для того, чтобы окончательно потрясти и без того надломленные душевные силы Маруси, потом снова арестовать ее и на этот раз добиться от нее чего-нибудь существенного. Я сообщил Марусе и это соображение. Маруся повернула ко мне залитое слезами лицо:

— Все равно, ничего от меня не вымучают...

Тося поднялся.

— Знаешь что, Маруська, завтра с самого утра пойду я к своему папаше. Чорт с ним — или пусть сделает все, что может, или пусть идет ко всем чертям — в папаши он мне больше не подойдет.

* * *

На следующий день мы все трое мотались по городу, как оглашенные. Я рассказал Преде и, так сказать, приставил ему нож к горлу. Было взято за жабры и еще несколько коммунистов, лично знавших Алешина. Тося сделал то же самое относительно собственного папаши — и в такой степени преуспел, что папаша немедленно поехал к какому-то чину. Маруся бегала по каким-то своим явкам и товарищам. Я с са-

мого утра свирепо ее предупредил, чтобы она прежде всего прооколачивалась час-полтора по коридорам и подвалам Дворца Труда. Это, для человека, знающего географию и топографию заведения сего, было наилучшим методом оторваться от какой бы то ни было слежки: бесконечные полутемные корридоры и около шестнадцати выходов на разные улицы. Тут всякого филера можно в дураках оставить.

Из всех предпринятых нами операций наиболее действенным оказался, повидимому, Тосин папаша. Именно от него были получены наиболее исчерпывающие сведения и наиболее категорическое обещание.

Дело же заключалось в следующем. Колю, как мы и предполагали, никаким избиениям не подвергали. Но его около шести месяцев держали в одиночке в компании с буйным сумасшедшим, время от времени инсценируя вывод на расстрел. Применялись и некоторые другие методы. Но наиболее действительным оказался сумасшедший: ночью он вцепился в Колины глаза и один успел вырвать. Другой глаз оказался спасенным. Кроме того, и Тосин папаша, и мой Преде получили заверения, что, "принимая во внимание пролетарское происхождение и несознательность", Алешин будет выслан в Среднюю Азию на срок в десять лет.

Мою и Тосину информацию, совпадающую почти во всех деталях, Маруся выслушала со спокойным деревянным лицом. Но по этому лицу безудержно катились слезы. Потом Маруся молча и деловито отставила в сторону стул, повернулась лицом в угол, к иконам, тихо-тихо стала на колени, перекрестилась и приникла лицом к полу.

***

Алешина выслали в Алма-Ату приблизительно через неделю после этого. Маруся выехала одновременно с ним, но приехала, вероятно, гораздо раньше: Коля ехал по этапу, Маруся в пассажирском. Фунты ан-

гличанина она приняла с каким-то растерянным недоумением: неужто это — тот самый? Тося взялся за реализацию этих фунтов в Торгсине.

Из Марусиных товарищей и подруг ее не провожал никто. Нельзя было давать след ГПУ-ским филерам. Поехали мы с Тосей, как люди уже очищенные от подозрения в принадлежности к организации. Прощание было тяжелым. Дорогу домой мы промолчали всю. Только, прощаясь, я спросил Тосю — какого он теперь мнения относительно красной армии и прочих вещей. Тося пожал плечами и не ответил мне ничего.

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАША СТРАНА

Борис Ширяев

Ди Пи в Италии

Отзывы о книге

Книга действительно нужная, — это человеческий документ исторического значения. Это показатель той международной опеки, которая ведала всеми несчастными, выброшенными за пределы не только своей родины, но часто за пределы простой человеческой жизни.

Много любопытного, много интересного пришлось пережить Ширяеву за эти нелегкие годы, много поистине трагического, неожиданного, тяжкого и мучительного, и все же все пережитое не сломило того, я сказал бы, запаса жизненных сил, которыми до сих пор профессор пользуется. Причем до странности вся книга пропитана некоторой долей здорового юмора и даже иронии. Ведь такая способность сохранилась в этой казалось бы в конец истерзанной душе человеческой.

Я читал книгу с карандашом в руке, чтобы отметить особо яркие факты, но подчеркиваний оказалось так много, что пришлось бы, если ими пользоваться для отчета газетного, переписать добрую часть книги.

И все же хочется отметить, что и Ширяева иногда оставляет его юмор в этой книге и он дает страницы, вызывающие своей теплотой искреннее волнение — такова глава о "втором турнэ Есенина" . . .

"Ди-Пи в Италии". Борис Ширяев (А. Алымов), изд. "Наша Страна", Буэнос-Айрес, 1952 г.

Владимир Зеелер.
"Русская Мысль" № 510,
Париж, 12. 12. 1952.

Мне кажется, он не ошибся, дав нам, как лицо собирательное, некоего Андрея Ивановича, колхозника из-под Пятигорска, дед которого пришел в свое время на Кавказ из Тульской губернии. "Тогда на Кавказе земли пустой много было. Степь. И ему дали. Разом справно зажили." — "А потом?" — Ну, как обыкновенно. По Столыпинскому закону еще прикупили и на хутор вышли. А потом и раскулачили нас. Обыкновенно . . . "

Эта обыкновенность судеб бесчисленных Андрей Ивановичей; обыкновенность их русского мышления, русской крепости и силы, дают Б. Ширяеву право утверждать, во первых, что для Андрея Ивановича и ему подобных "его родина не чудная мечта, не болезненный и чахлый призрак — она вполне конкретная и реальная: свой хутор под Пятигорском, свой огород, своя жена" и что, во вторых, "почти все крестьянство, за исключением, конечно, кретинов, пьяниц, органических неудачников", подобно Андрею Ивановичу.

Добавим к этому те строки, которыми Б. Ширяев кончает описание Володи-садовника и Володи-певца, двух молодых людей, являющихся полюсами "новой" русской молодежи. Что обще для них? — "та отзывчивость к чужой беде, то бескорыстное желание помочь в ней, те проблески, каких уже не видно на просвещенном огнями реклам Кока-Кола Западе, но какие все чаще и чаще поблескивают в жуткой тьме осуществленного социализма."

Вот каков обобщенный образ "жертвы эпохи" — русского Ди-Пи. Образ этот типично русский, ибо "там" — "жизнь иная, а люди те же".

Г. Месняев.

"Новости Толстовского Фонда" № 11 Нью-Иорк, 2. 1953.

***

"Ди-Пи в Италии" один из видов хорошего оружия "холодной войны." Надо только ее перевести на иностранные языки. Автор может стать хорошим офи-

цером "холодной войны", но ... сидит в итальянском лагере. Почему? Ведь без таких, как он, сама "холодная война" превращается в бессмыслицу.

М. Б-ов.

"Новое Слово № 143,
Буэнос Айрес, 20. 11. 1952.

***

Несколькими характерными штрихами Ширяев показывает Иуд и Иудушек нашего "просвещенного и гуманного" века, перещеголявших своей торговлей человеческими душами, наживой за счет отнятия скудных граммов продуктов питания у бесправных Ди-Пи, и персонажи "Мертвых Душ" Гоголя и героев Салтыкова-Щедрина.

На фоне клятвопреступничества, жестокой тупости, мелкой жадности и больших моральных преступлений, еще ярче вырисовывается отчаянная стойкость гонимых и предаваемых Ди-Пи.

"Хождение по мукам" бесчисленных комиссий, тюремные условия жизни в лагерях "спасения", полная бесперспективность тех, кто не выиграл на трамвайный билет визу за океан, поставили перед ослабевшими за восемь лет жизни в лагерях УНРА—ИРО душами дилемму — что хуже — высшая мера наказания в СССР или высшая степень издевательств со стороны бюрократов ИРО? И мы видим взятую измором душу Никиты Сорина... Душа совсем не пропащая. Дай ей помощь сейчас — она воспрянет. Предчувствуя гибель, она бьется, кровоточит... Но нет больше сил верить в чудо. Всему есть свой предел. Никита возвращается в лапы к дьяволу... Уже навсегда... Прокляв всех и вся...

Эта книга, на всех страницах которой нет вымысла, страшна своей жизненной правдой, но очень нужна. Нужнее многих изданных за последнее время книг.

Лидия Норд.

"Наша Страна" № 172,
Буэнос Айрес, 2. 5. 1953.

Цена книги 3 ам. долл.

Борис Ширяев

Светильники Русской Земли

Отзывы о книге

В замечательных очерках, собранных в книгу под заглавием "Светильники земли русской" Ширяев с большой теплотой рассказывает о чуде Преподобного Сергия Радонежского, о Николае Чудотворце, пришедшем незримыми путями в Россию, ставшем наиболее чтимым святым на Руси спасителем погибающих, заступником и утешителем.

И, вот, перед нами встает Соловецкая обитель. О ней, к нашему стыду, мы знали очень мало. И не предполагали Советы, выбирая святой остров местом ссылки для "перековки" сознания людей, что "там Христос совсем, совсем близко". Что оставшиеся на Соловецком острове подвижники силой Духа свершат новые чудеса, подобные тем, что записаны в Соловецких летописях и что Незримая Рука приведет на помощь изнемогающим в ссылке людям "утешительного попа" - отца Никодима, щедро делящимся с обездоленными богатством души своей — неиссякаемой, веселой радостью.

Мы видим его живого, осязаемого, "с бегущими к глазам лучистыми морщинками", окруженного отпетой шпаной, слушающей, затаив дыхание такие же живые и радостные, как он сам, "Священные сказки". Раздувающего в остывших душах Божий огонь, превращающий его в пламя веры . . .

Лидия Норд.

"Наша Страна" № 172,
Буэнос Айрес, 2. 5. 1953.

***

Ширяев умеет просто, без прикрас и нажимов, без усиленной утрировки рассказать о трагических случаях нашей не тяжкой, а какой-то, казалось бы совсем безысходной жизни. Борис Ширяев несомненно верующий человек, он знает, что такое людское горе, и как нуждается человек в поддержке, в сочувствии, в добром слове, в утешении, когда жизнь подпирает бедой, да так, терпеть уже становится не в моготу.

Ширяев в каждом человеке ищет и часто находит то "человеческое", без чего человек вообще не мог бы жить. Вот почему у него "Утешительный Никодим" приходит к нам со страниц этой небольшой книжки совсем живым мы его видим, мы — с ним. И так он становится этот старенький, почти святой, служитель Бога нам близок, так мы его полюбили за его "любовь к ближнему", что искренне оплакиваем его такую тоже тихую, как вся его душевная жизнь, кончину.

А военкома Петра Сухова вы не видите? Не слышите, после того, как он "сдернул буденовку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился" — его тоже торопливый полушопот: "Ты смотри... чтоб никому ни слова... А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная"...

Разве это не жизнь, настоящая жизнь, со всеми ее гримасами, с ее почти безумием, с верой и богохульством? — Во что она, эта жизнь обращается? Чем и кем стал человек? И все-таки где то там, далеко, в глубокой темноте, теплится наша лампада, неугасимая лампада, которая дает нам силы и жить, и верить, и надеяться на светлое будущее... Если не для нас, то для детей наших.

Владимир Зеелер.
"Русская Мысль" № 538,
Париж, 20. 3. 1953.

Цена книги — 1 ам. долл.

В том же Издательстве вышла и поступила в продажу книга

Проф. М. В. ЗЫЗЫКИНА

Тайны Императора Александра I

***

Выпущенная издательством "Наша Страна" в Буэнос-Айресе книга проф. Зызыкина "Тайны императора Александра I" представляет собою не только сводку всего накопившегося по этому вопросу исторического и мемуарного материала, но содержит в себе и краткий обзор, вернее, наметку основных вех того психологического пути, по которому мог итти, а по всей вероятности и шел к отказу от верховной власти этот глубоко трагичный в своей личной судьбе венценосец.

Проф. М. В. Зызыкин начинает этот обзор с момента вступления императора Александра I на царство, вернее, даже, с непосредственно предшествовавших этому акту событий — заговора против жизни его отца, императора Павла I. Здесь завязка глубокой внутренней драмы венценосца, вынужденного принять хотя бы и косвенное участие в дворцовой революции, направленной к свержению с престола его отца. Драма сына и трагедия правителя, ставшего в дальнейшем во главе борьбы против революционных движений во всей Европе, слиты во едино в этом зерне. В аспекте этой внутренней драмы столь сложной и глубокой натуры, какую представлял собой император Александр I, проф. М. В. Зызыкин рассматривает все дальнейшие акты его царствования, а также и некоторые черты его личной жизни, главным образом беспрерывно нараставшую в душе бывшего "вольнодумца" и воспитанника члена Конвента Лагарпа склонность к мистицизму. Эту психическую направленность Александра I проф. М. В.

Зызыкин базирует на его трагических переживаниях в роковую ночь вступления на престол. Муки совести проходят красной чертой через весь известный нам период жизни Александра I.

Но даже признав, что официальная версия о смерти императора Александра I была мифом, остается неразрешенным вопрос — о тождестве личности императора с появившимся в Сибири старцем Федором Кузьмичем. Этому вопросу посвящены последние главы чрезвычайно ценной и очень интересной работы проф. М. В. Зызыкина.

Проф. Б. Ширяев.
"Русская Идея" № 4(28),
Мюнхен, 30. 3. 1953.

Цена книги — 4 ам. долл.

Imprenta "Dorrego", Dorrego 1102, Buenos Aires, T. E. 54-4644